

ЮРИЙ ДОМБРОВСКИЙ

**МЕНЯ
УБИТЬ**

ХОТЕЛИ

**ЭТИ
СУЖИ**



ЮРИЙ

ДОМБРОВСКИЙ



Ю. Домбровский

1950.

1954.

ТАИШЕТ

Анри Руссо
мир этот многоуветен и негист
мерцающий, безумно-иступленый
но ты пришел, ты свет зажгел зелен
и солнце осветило кансвэй лист
и там еще трепещут жемчуга
земных тел, там был и свет пожара
на голубых танувших уях Дега
на розовых живописных Режуара
там есть еще холодный сачий
роскошно размалеванной жес
там так нежна фигура Татленки
струющая потем любовный свет
Ты чертото вертится колесо
и блуждай от томления и страст
великую ломает Пикассо
что вновь срассить рассыналет
там словно висельник застыл в дв
путосторонним холодом обвеш
суровой католический монах
е клячем в руках и вервием на ше
Взгляни и мико:

Около Окна
стоит поэт, той прост многогласи
с улыбною он смотрит с полоти
в тот скорбный мир, где не хвата
а рядом муза, край ее плаща
касается зеленой хвоица
и море, недоступное для бурч
касается здесь из тьювиса лазур

x x
x

картина, муза и поэт

идет по улице
и маде меньше курица
с белой попоной
с черной короной
с красной царевой
с трико-комотою

6
и на пестром рынке
свинки за корзинки
идут за толкучкой
спорят за торгую
рыбаки салатики
рутиками перчатками
виноградом розами
лизунами розовыми

7 ^{однажды по}
дел я шела ^{милосердие} рынок
потыкнулся о корзинку
этой маленькой корзинки
с товарами хороши
удра кружева ботинки
что угодно для души
ах, что для души
зачем мне карандаши
молочные и травы
~~пожидные~~ титры
розовые храни
голубые чашки
золотые каваи
мир волшебной сказки

8
и весь этот мир не для меня
и искренней, збулекливый и пылкий
полюбил змеиные омины
и радуги угарного огня
и полюбил разъятый словно труп
мой страшный мир в палитре убогой
о в какой час когда из нестких тушиной





1
море, море паряхом
маленький кораблик
отразился в гладкой вод
розовых сабл
из высоких труб идет
дым густой как вата
где же этот пароход?
видел я когда-то?
где я видел кружискала,
как в желтом свете
для коло я рисовал
пароходы эти?
оуагский край земли-
где по синей гладь
проплывают корабли
в желтые тетради
где развернутый бланк
желтый словно репа
пробирался и хитрый кот
выблутый свирепо

2
плушишь ельню дышишь
вышел из камыша
и медит стрелю в челе
прустремляется газель
сплуня-сно тоу унасте
в тоу же идущую пасте
тигр расправил для красн
африканские усы
и встал во весь звериный рост
и раскручивает хвост

3
Тотка, Тотка, Буторок
пара рога пара кол

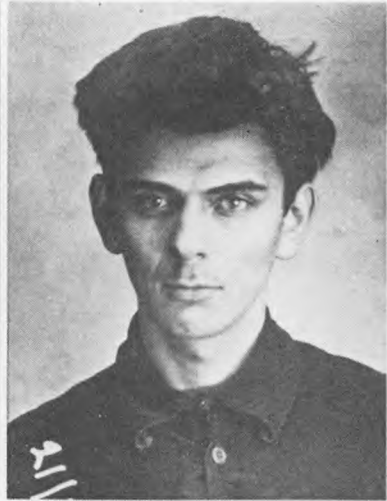
32

убит при попытке к Бергсву!

Л. С

мой дорогой (чего ты так сядешь?
пусть ложных солих - совсем не легкая
А мне уже неделю не заснуть ^{пусть!}
Заснешь и вновь по снегу зашагай ^{еще!}
опять услышишь ветра слышишь вой
скрип сопелов по снегу: ред койвой
ложись!!" - и над соседней головой
"взметнется вдруг легкий снег ^{Знать}
мгновенное слыше скляное -
неуловимо тонкий острый свей:
Шел человек и человек не!

Убийце дарят белые гассы
и отпуск в две недели. Две недели
Он человек! О нем забудут псы,
Таящийся сумран, хриплые метель
лети к своей невесте как вальс



**ЮРИЙ
ДОМБРОВСКИЙ**

**МЕНЯ УБИТЬ
ХОТЕЛИ
ЭТИ СУЖИ**

Москва

Возвращение

1997

УДК 882-32
ББК 84Р 7
Д66

Вступительная статья и составление
К. Ф. Турумовой (Домбровской)

Художник
Ф. Меркуров

Запретная тетрадь

Осенью 1960 года после отъезда из Алма-Аты Юрий Осипович прислал мне небольшую подборку своих лагерных стихов: «Моя запретная тетрадь одной откровенной девочке».

Так еще раз для меня чуть приоткрылась дверца в его прошлое. Потому что до этого были и наши вылазки в горы, и собор, построенный Зенковым, позднее превращенный в музей, в котором работал Домбровский, и мазанка на окраине города с двориком-мастерской скульптора Иткинда, и разные интересные встречи и беседы, но о прошлом почти не говорили. Даже когда мы бывали у художника Антощенко-Оленева, «собрата» Домбровского по лагерям и ссылкам, — лагерь особенно не вспоминали. Юрий Осипович читал стихи Ходасевича, Гумилева, ранние стихи Цветаевой; из своих — «Мария Рильке», «Гнедич и Семенова», «Утильсырье»... В одном из первых писем он прислал мне «Обезьяну» Ходасевича. «Тебе нравилась «Обезьяна». Списываю ее целиком. Стихотворение действительно поразительное, таких перлов немного в мировой лирике». Получила я и «крамольное» «Как обещало, не обманывая, проснулось солнце...» Бориса Пастернака и стихи Марины Цветаевой.

«В Гослитиздате уже несколько лет лежит ее большой однотомник, набранный и сверстаный, — и все не решаются его выпустить. Если достану что-нибудь из него — пошлю.

Пока переписываю два стихотворения из своей антологии*: «Красной кистью» 16 авг. 1916 г., «Никто ничего не отнял» 12 февр. 1916 г.».

Юрий Осипович часто посылал друзьям стихи, которые любил сам.

* И. С. Ежов, Е. И. Шамурин. Русская поэзия XX века. Антология, М., 1925 г.



К. Турумова и Ю. Домбровский. Алма-Ата. 1964 г.

Стихи всегда были с ним. Катулл, Шекспир, Пушкин, Державин, Веневитинов, Мандельштам — мир, в котором он жил. О Катулле и Веневитинове хотел даже написать повести, но сначала не успел — в очередной раз забрали, а в шестидесятые надо было уже выбирать: или Веневитинов, или Катулл, или «Хранитель».

Лагерная тетрадь начиналась циклом «Поэты пушкинской поры» — «Г. Державин», «Веневитинов», «Гнедич и Семенова», «Клюшников», «Козлов». Эти стихи, вероятно, написаны до лагеря (все без исправлений, дат почти нет) — в этой тетради они как поддержка, как опора.

А дальше тетрадь превращается в рабочую: ищется более точное слово, рифма, и целые строфы перечеркиваются, как неудачные.

При жизни Юрия Осиповича была опубликована только одна небольшая поэма «Каменный топор» в журнале «Литературный Казахстан» в 1939 году.

Домбровский часто говорил: «Я прозаик, а не поэт». Говорить-то говорил... Помню, выступая в Алма-Ате, в нашем университете на юбилее Лермонтова, он так и сказал: «Я прозаик. Потому буду говорить о прозе Лермонтова» (правда, и начал со стихов, и кончил ими).

В 1963 году, еще до нашей свадьбы, он писал мне из Голицына: «...Ардов обещает мне дать неизданный цикл А. Ахматовой, сочиненный в 1937-м, а записанный только сейчас, — 25 стихотворений.

Просит взамен мой цикл — но у меня ничего нет, ходят только магнитофонные записи, а у меня даже и магнитофона нет.

Стоят жесточайшие морозы, когда бегу после утреннего умывания через двор в столовую, у меня леденеют волосы. Земля трещит. Но солнца много, и все вокруг сверкает стеклянным блеском. Удивительно, что птичек много, но это не воробьи, а снегири, щеглы и синички. Они так надуваются на холоде, что сидят на бурьяне, как большие мягкие шары — не то мотки шерсти, не то такие цветы.

А звезды ясные-ясные, большие-пребольшие и почему-то не мерцают...».

Отдельной книгой стихи Юрия Осиповича издаются впервые.

Клара Турумова (Домбровская)

...ВООБЩЕ ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ВНЕЗАПНОСТИ И СВЕЖЕСТИ ВОСПРИЯТИЯ, КОТОРЫЕ ТЫ СУМЕЛ ВЫРВАТЬ ИЗ БОЛЬШОГО, НЕПРЕРЫВНО ТЕКУЩЕГО ПОТОКА КРАСОК И ВЕЩЕЙ.

ВОТ ПОМНЮ ТАКОЕ: ОДНАЖДЫ ИЗ ТЕМНОЙ ОДИНОЧКИ (СТЕНА, СТЕНА, ЖЕЛЕЗНАЯ ДВЕРЬ, ПОЛОСКА ОКНА, А ВВЕРХУ ПОСТОЯННО ГОРЯЩАЯ МЕРЗКАЯ ЖЕЛТАЯ ЛАМПОЧКА, ПРЯМО КАК КОЛБА СО СКРЮЧЕННЫМ ЧЕРВЯКОМ) МЕНЯ ВЫЗВАЛИ В КАБИНЕТ НАЧАЛЬНИКА ТЮРЬМЫ, И Я ВПЕРВЫЕ ЗА ЭТОТ ГОД УВИДЕЛ В ОКНО ОГРОМНЫЙ ТОПОЛЬ В ЛИСТЬЯХ И СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧАХ.

ПОНИМАЕШЬ, МЕНЯ ПРОСТО ПОРАЗИЛО — ЭТА ЖИВАЯ МАССА ЛИСТЬЕВ, ЭТО НЕВЕРОЯТНОЕ БОГАТСТВО ПРИРОДЫ ПОСЛЕ МОЕЙ СКУДОСТИ — ВЕДЬ ОНА НЕ ПОЖАЛЕЛА МИЛЛИОНЫ ЛИСТЬЕВ — ЗАКОНЧЕННЫХ, ОТДЕЛАННЫХ, ПРЕКРАСНЫХ ДЛЯ ОДНОГО ДЕРЕВА, — И ВСЕ ОНИ ШУРШАТ, ДВИЖУТСЯ, ЖИВУТ — ЭТО БЫЛО ТАК НЕСОВМЕСТИМО С 3 МЕТРАМИ, 4 СТЕНАМИ И ДВУМЯ КРАСКАМИ — ЧЕРНОЙ И СЕРОЙ, — ЧТО Я, КОГДА МЕНЯ О ЧЕМ-ТО СПРОСИЛИ, ОЧЕНЬ ДОЛГО НЕ МОГ НИЧЕГО ОТВЕТИТЬ — ПРОСТО БЫЛ СВИТ С ТОЛКУ ЭТИМ БОГАТСТВОМ.

Из письма Кларе Турумовой (1960 г.)

КАМЕННЫЙ ТОПОР

I

Обработанный слепо и грубо,
От столетий, как нищий, рябой,
О, обглоданный веком обрубок,
Путь истории начат тобой.
От дубины в руке человечесьей,
От костра, покоровшего жуть,
Через смерти, дожди и увечья
Начинает история путь.
И идет по разбитым шеломам
За атилловой скачкой коня
По преданиям, с детства знакомым
И дряхлеющим у огня.
Низколобый, тупой и упорный,
Он едва ли расскажет кому,
Как стонали подземные горны
И вселенная мерла в дыму.
Как от самой последней границы,
Где огонь разметал волоса,
Отрывались свирепые птицы
И летели гнездиться в леса.
Как лилась раскаленная ворвань
По звериным и птичьим тропам,
Как, от стонущей плоти оторван,
Он в жестокие руки попал.
И три ночи металась пещера,
Заболевшая едким огнем.
Человек, толстогубый и серый,
Наклонялся над тонким кремнем.

Неподвижный и чертовски быстрый,
Он следил через бой молотка,
Как растут разноцветные искры
Сквозь змеиную шкуру песка.
И когда на горячем квадрате
Два кремня свой закончили спор,
Он корой примотал к рукояти
Этот первый в эпохе топор.

II

Он идет по косогору,
Рыжий, сильный, молодой,
Через реку, через гору,
Через тень и через зной.
Светят звезды паутины,
Блещут радуги стрекоз.
И на солнце греет спину
Низколобый и звериный,
Отдыхающий откос.

Он идет — земля от жара
Стала гулкой и пустой,
Солнце маревом пожара
Наклонилось над землей.
И до белого каленья,
До свирепой седины
Жирных шпатов поколенья
У реки накалены.
Только крикни, только стукни,
Только прыгни не туда,
И глухое небо рухнет,
Расслоившись, как слюда.

Размахнись сильнее руками,
Не сдержи движенье ног.
Под ногами вспыхнет камень,
Превращаясь в порошок.
Но, заре и солнцу рады,
Целый день трубят с плеча
Разноцветные цикады
И степная саранча.

Над сиянием прогалин
В их сиреневой тени
Шлифованием хрусталин
Занимаются они.

И остановив дыханье,
Тормозя движенье век,
Над поющим мирозданьем
Наклонился человек.

III

Ночь подходит к желтым водам,
И по отмели пустой
Полосатый махайродус
Проскользнул на водопой.
Он идет — сухой и четкий,
Подобрав в себя живот,
За кошачью походкой
Камень выцветший ползет.
В тростнике прибрежном глухо,
Словно в звездной синеве —
И расписанное брюхо
Прижимается к траве.
Щуря острые глазницы,
Как всегда свиреп и прост,
Зверь ползет, и шевелится
По песку тигриный хвост.
Ветлы стынут в лунном свете,
Светляков в траве не счесть!
И с горы приносит ветер
Оглушительную весть.
Жирной плоти дрожь и запах,
Голубых подпалин пот
В ноздри, в ребра, в зубы, в лапы
Он взволнованно несет.
Опустившись на колени,
Тростником дрожащим скрыт,
Слышит тигр шаги оленье
И звучание копыт.
Каменистою тропую
Обгоняя звезды вскачь,

Первым сходит к водопою
Коронованный рогач.
И когда, тяжел и прыток,
Закачал он валуны,
Потонул тяжелый слиток
Расколовшейся луны.
Спит по-прежнему долина,
Но над чутким тростником,
Развернувшись, как пружина,
Покатился рыжий ком.
А за ним, храня дыханье,
Ширя тьму разгоном век,
Через ночь и мирозданье
Пролетает человек.

IV

Был мамонт стар, но видел он впервой,
Как два комка сцепились в желтых травах,
Как тигр ревел и ширил след кровавый,
И в камни упирался головой.
Был мамонт стар, но слышал в первый раз,
Как рывкнул зверь отрывисто и глухо,
Как смерть вошла в белки открытых глаз
И убрала в грудную полость брюхо.
Как сделал зверь вдруг судорожный прыжок
И сбрил цветы когтистой лапы росчерк;
Как сухо треснул первый позвонок
И дрожью отозвался позвоночник,
Как, разрывая горло и язык,
Зверь затрубил в отчаяньи великом,
Но вдруг распался, вытянулся, сник,
Как будто кровью, захлебнувшись криком
И в такт борьбы качая головой,
Вдруг сбился мамонт, увидав нежданно,
Как рыжая поднялась обезьяна
И волосы поправила рукой.

* * *

Медлительный еврей с печальными глазами
Мне говорит о тайнах бытия:
Как человеком сделалась змея,
Накормленная райскими плодами.
Все спит кругом, — нет третьего меж нами, —
Но ты со мной, бессонница моя!

Он мудр и тих. Все библии изведав,
Ведет он неуклонно речь свою,
Как сделал из Молчалина змею
В комедии премудрый Грибоедов.
Все спит кругом — никто не слышит бреда,
Никто не слышит сказку про змею.

Мой Господин! Ты знаешь жизнь мою:
Мой скорбный путь и грустную победу.
Ты дал мне ум, велел мне плод отведать,
Стать хилым и похожим на змею.
Теперь я стар! Спаси ж меня от бреда,
А бурю я люблю простою!

* * *

Я вновь один, и есть Барон,
И есть разбросанные корки,
И крики западных ворон
Вокруг украденной махорки;
Сухая сука, две шестерки,
И вор, по прозвищу Чарльстон.
Вот он мне ботает про то,
Как он подпутал генерала,
Как дочь несчастного бежала,
Его хватая за пальто.
А он приплясывал, смеясь,
Плечами поводил картинно
И говорил: «Отстань, падлина,
Я честный вор, отлипни, мразь!»

Она сбежала от отца
И по банам его ловила,
Потом сто тысяч закосила,
И отмолила, откупила
И задарила молодца.
Я все прослушал до конца
И призадумался уныло:
Зачем любви нужна могила
И тяжесть крестного венца?
Зачем сознанию подлеца
Всегда одно и то же мило:
«Она страдала и любила,
И все прощала до конца!»
Как мне противен разум мой,
Мое тупое пониманье.

Он не потащится с сумой,
Он не попросит подаянья.
Но как его ты ни зови,
Он все пойдет своей дорогой —
Сорвать с поруганной любви
Венец блестящий и убогий!

О ложь! О милое ничто!
Любви прекрасное начало.
Тот край, где дочка генерала
По людным улицам бежала,
Хватая вора за пальто.

Дай мне, сияя и скорбя,
Моей любви шепнуть неловко:
«Я все простил тебе, дешевка...
Мне очень трудно без тебя!»

АНРИ РУССО

Мир этот многоцветен и нечист,
Мерцающий, безумный, исступленный;
Но ты пришел, ты свет зажег зеленый,
А солнце осветило каждый лист,
А там еще трепещут жемчуга
Змеиных тел, там дым и свет пожара —
На голубых танцовщицах Дега,
На розовых животных Ренуара.
Там есть еще багровый жирный цвет,
Страстей и чувств кровавые изнанки.
Там так нежна фигура Таитянки,
Струящая почти лиловый цвет...
Там чертово вертится колесо,
И бледный от томления и страсти
Вселенную там рушит Пикассо,
Чтоб вновь срастить рассыпанные части.
Там словно висельник застыл в дверях,
Потусторонним холодом оваян,
Суровый католический монах
С ключом в руках и вервием на шее.
Взгляни — и мимо, около окна
Стоит поэт твой — прост, многотелесен*,
С улыбкою он смотрит с полотна
В тот скорбный мир, где не хватает песен.
А рядом Муза — край ее плаща
Касается зеленого хвоща;
И море, недоступное для бури,
Несется здесь из тюбика лазури.

* Картина «Поэт и Муза».

1

Море, море, пароход,
Маленький кораблик.
Отразились в ряби вод
Розовые сабли.
Из высоких труб идет
Голубая вата.
Где же этот пароход
Видел я когда-то?
Где я видел кудри скал,
Чаек в красном свете?
Для кого я рисовал
Пароходы эти?
О, далекий край земли,
Где по ровной глади
Проплывают корабли
В детские тетради!
Где в раскрашенный блокнот,
Желтый, словно репа,
Пробирался хитрый кот,
Выгнутый свирепо.

2

Оглушительно дыша,
Вышел он из камыша
И глядит стрелой в цель.
Устремляется газель
Специально, чтоб упасть
В поджидающую пасть.
Тигр расправил для красы
Африканские усы,
Встал во весь звериный рост
И раскручивает хвост.

3

Точка, точка, бугорок,
Пара рог да пара ног...
Неужели, неужели
Это все, что от газели?

Ира! Ира! Ира — план,
 Посади меня в карман.
 Разверни свои бока,
 Подними под облака!
 С воротом распоротым
 Мы парим над городом,
 Наблюдая с высоты,
 Как горбатятся мосты,
 Как ложится ловко
 Синяя штриховка:
 То у круглой арки
 Разлеглись парки.
 То, косматей медвежат,
 Ели город сторожат.
 То идет по улице
 Лошадь меньше курицы,
 С бедною попоною,
 С черною короною,
 С красною каретою,
 С гривою-кометою.

Точка, точка, запятая,
 Минус, рожица кривая,
 Ручка, ножка, огуречик —
 Вышел к морю человек,
 И сияют на картинке
 Человечкины ботинки,
 И цилиндр, и часы,
 И кудрявые усы.
 И, подумав, я рисую
 Рядом даму голубую —
 Тонкую, унылую,
 Бледную и милую.
 Точки, точки, точки, точки,
 Черный пудель на цепочке.
 Дом, труба и из трубы —
 Дыма черные клубы.

6

А на пестром рынке
 Кринки да корзинки,
 Ходят да толкуют,
 Спорят да торгуют...
 Рыбьими салатами,
 Утками пернатыми,
 Виноградом, розами,
 Яйцами розовыми.

7

Шел однажды я по рынку,
 Спотыкнулся о корзинку...
 В этой маленькой корзинке
 Все товары хороши:
 Пудра, кружево, ботинки —
 Что угодно для души.

8

Ах, угодны для души
 Ваши мне карандаши!
 Молодые игры,
 Пожилые тигры,
 Храмы голубые,
 Дамы молодые,
 Небо, в небе колесо...
 Вы создатель их, Руссо...

Увы, весь этот мир не для меня!
 Неискренний, двуличный и пытливый,
 Я полюбил змеиные отливы
 И радуги угарного огня.
 Я полюбил разъятый, словно труп,
 Мой страшный мир в палитре увяданья;
 Но в оный час, когда из жестких губ
 Вдруг вылетит склерозное дыханье
 И будет взгляд мой искренен и туп,
 Но, страстного исполнен ожиданья,
 И я увижу смерть — совсем не ту,

Что с детства мне обещана преданьем, —
А дикий свет, нагую высоту,
Вне образов, времен и очертанья...
И вдруг пойму, что тяжкий подвиг мой
Ты, жизнь моя! Не пращуров наследство,
А только путь бессмысленно прямой,
Бессмысленно пустой, в нагое детство.
И затоскую смертно, трепеща,
Приди тогда из облачных расселин
И возврати мне тигра, солнце, зелень
И Музу старую под щетками хвоща.

Из писем Кларе Турумовой

...Был на выставке Левитана — он никогда, конечно, не был представлен в таком количестве, но впечатление неожиданное — ходил и думал: какая у него мрачная, нелюдимая, холодная, давящая природа. Заметь, нигде у него нет ни цветов, ни текущей воды. «Клейкие лепесточки» ему просто недоступны, как недоступны радость весны, одевания, расцвета, природа его не бодрит. Весна Левитана — это весна, когда чахоточный умирает от гнилостных испарений. Вода у него тяжелая, темная, холодная.

И разве захотел бы он когда-нибудь нарисовать сирень или родник в лесу? «Над вечным покоем», по-моему, самая характерная его картина — логический и эмоциональный вывод из всего его творчества.

1961 год

...Сегодня пойду на выставку Пироманишвили — гениального художника — нашего кавказского Анри Руссо. Его у нас еще никогда не показывали.

1963 год

БАЛЛАДА

Не потому, что с нею мне светло,
А потому, что с ней не надо света.

И вот на маленький помост
Восходит старый шут.
Я точно знаю, кем он был
И как его зовут.
И с биографией его
Частично я знаком.
И песни я ему писал
Блудливым языком.
Его пластинки я верчу
С любимой вполпьяна,
Когда разведать захочу,
О ком грустит она.
Когда ж кругом и дождь, и грусть,
И нету никого,
Я повторяю наизусть
«Безноженку» его.
И если в ресторане джаз,
И в рюмках вихрь огня,
Какой-то старый пес Дуглас
Все лезет на меня.
Когда же шансы у меня
На жизнь невелики,
И если милая змея
Мне не подаст руки,
И я сквозь наигрыш и спесь

Так точно вдруг пойму,
Что жизнь ушла, и вот я весь,
Не нужный никому,
Что только глупость трубит в рог,
Что замок мой во сне,
Что много у любви дорог,
Но ни одной ко мне;
Что только сон да крепкий чай
Еще меня берут,
Тогда я крикну: «Выручай
Меня, потертый шут!
Соседи спят, в постели ночь,
На сердце лай собак,
Но ты способен мне помочь,
Кривляка и пошляк...
Явись ко мне и упокой
Безногую мечту...
И как отходную спой
«Магнолию в цвету»!»

РЕКВИЕМ

Где ты, где ты, о прошлогодний снег?

Ф. Вийон

Животное тепло совокуплений
И сумерк, остроглазый, как сова.
Но это все не жизнь, а лишь слова, слова,
Любви моей предсмертное хрипенье.
Какой урод, какой хмельной кузнец,
Кривляка, шут с кривого переулка
Изобрели насос и эту втулку —
Как поршневое действие сердец?!

Моя краса! Моя лебяжья стать!
Свечение распахнутых надкрылий,
Ведь мы с тобой могли туда взлетать,
Куда и звезды даже не светили!
Но подошла двухспальная кровать —
И задохнулись мы в одной могиле.
Где ж свежесть? Где тончайший холодок
Покорных рук, совсем еще несмелых?
И тишина вся в паузах, в пробелах,
Где о любви поведано меж строк?
И матовость ее спокойных век
В минуту разрешенного молчанья.
Где радость? Где тревога? Где отчаянье? —
Где ты, где ты, о прошлогодний снег?

Окончено тупое торжество!
Свинья на небо смотрит исподлобья.
Что ж, с Богом, потерявшее подобье,
Бескрылое, слепое существо,
Вставай, иди в скабресный анекдот,
Веселая французская открытка.
Мой Бог суров, и бесконечна пытка —
Лёт ангелов, низверженных с высот!
Зато теперь не бойся ничего:
Живи, полней и хорошей от счастья, —
Таков конец — все люди в день причастья
Всегда сжирают Бога своего.

СОЛДАТ — ЗАКЛЮЧЕННОЙ

Много ль девочке нужно? — Не много!
Постоять, погрустить у порога,
Посмотреть, как на западе ало
Раскрываются ветки коралла.
Как под небом холодным и чистым
Снег горит золотым аметистом —
И довольно моей парижанке,
Нумерованной каторжанке.
Были яркие стильные туфли,
Износились, и краски потухли,
На колымских сугробах потухли...
Изувечены нежные руки,
Но вот брови — как царские луки,
А под ними, как будто синицы,
Голубые порхают ресницы.

Обернется, посмотрит с улыбкой,
И покажется лагерь ошибкой,
Невозможной фантазией, бредом,
Что одним шизофреникам ведом...
Миру ль новому, древней Голгофе ль
Полюбился ты, девичий профиль?
Эти руки в мозолях кровавых,
Эти люди на мерзлых заставах,
Эти бьющиеся в беспорядке
Потемневшего золота прядки?

Но на башне высокой тоскуя,
Отрекаясь, любя и губя,
Каждый вечер я песню такую

Как молитву твержу про себя:
«Вечера здесь полны и богаты,
Облака, как фазаны, горят.
На готических башнях солдаты
Превращаются тоже в закат.
Подожди, он остынет от блеска,
Станет ближе, доступней, ясней
Этот мир молодых перелесков
Возле тихого царства теней!

Все, чем мир молодой и богатый
Окружил человека, любя,
По старинному долгу солдата
Я обязан хранить от тебя.
Ох ты время, проклятое время,
Деревянный бревенчатый ад!
Скоро ль ногу поставлю я в стремя
И повешу на грудь автомат?
Покоряясь иному закону,
Засвищу, закачаюсь в строю...

Не забыть мне проклятую зону,
Эту мертвую память твою;
Эти смертью пропахшие годы,
Эту башню у белых ворот,
Где с улыбкой глядит на разводы
Поджидающий вас пулемет.
Кровь и снег. И на сбившемся снеге
Труп, согнувшийся в колесо.
Это кто-то убит «при побеге»,
Это просто убили — и все!
Это дали работу лопатам
И лопатой простились с одним.
Это я своим долгом проклятым
Дотянулся к страданиям твоим».

Не с того ли моря беспокойны,
Обгорелая бредит земля,
Начинаются глупые войны
И ругаются три короля.
И столетья уносит в воронку,
И величья проходят, как сны,

Что обидели люди девчонку
И не будут они прощены!
Только я, став слепым и горбатым,
Отпущу всем уродством своим —
Тех, кто молча стоит с автоматом
Над поруганным детством твоим.

* * *

О, для чего ты погибала, Троя,
И выдуман был Одиссеем конь?
Каких изменников, каких героев
Испепелил бенгальский твой огонь!
Зачем не откупилася от тлена
Свечением своих бессмертных риз
Похожая на молнию Елена
И был забыт лысеющий Парис.

А может быть, влюбленные для вида,
Они милуются, обнажены,
Лишь на картине юного Давида —
Две декорации с одной стены;
И юноша, исполненный отваги,
Лишь в те минуты юн и именит,
Когда в устах ослепшего бродяги
Его шальная молодость звенит.

Истлели все: и рыцари, и Боги,
Растретые в один летучий прах...
Пустынный вихрь ходит по дороге
И чью-то пыль вздувает в лопухах.
Гудит, гудит, расходится кругами,
Вновь возвращается на прежний путь...
И словно пыль скрипят под сапогами
Мозг Одиссея и Елены грудь.

Но сброшенное волей бутафора
На землю, где убийство — ремесло,

Чудовищное яблоко раздора
За тысячелетья проросло.
И вот опять похищена Елена,
Да только чья Елена — не поймешь!
Опять сзывает хриплая сирена
Созревшую к убою молодежь.

Уступленная недругу без боя
И брошенная, как троянский конь,
Европа бедная, покинутая Троя,
Ты погибаешь, на коленях стоя,
Не испытав железо и огонь.

*Владивостокская пересылка, Вторая речка
Осень 1940 г.*

* * *

Генерал с подполковником вместе,
Словно куры сидят на насесте,
Взгромоздились на верхние нары
И разводят свои тары-бары,
Тары-бары, до верху амбары,
А товары — одни самовары.
Говорят о белом движенье
И о странном его пораженье,
О столах, о балах, о букетах,
О паркетах и туалетах.
Отягчен своей ношей костыльной,
Прохожу я дорогой могильной.
Боже правый, уж скоро полвека
На земле человек, как калека,
В Освенцимах при радостных криках
Истребляешь ты самых великих.
Ты детей обрекаешь на муки,
Ты у женщин уродуешь руки...
И спокойно колымская замять
Погребает их страшную память.
Не ропщу на тебя, но приемлю
Талый снег и кровавую землю.
Но зачем, о всевышний садовник,
Пощажен тобой подполковник?
В час, когда догорает эпоха,
Для чего ты прислал скомороха?..
Отнимай нашу честь, наше имя,
Но не делай нас, Боже, смешными!
Не казни нас ни сказкой Кассиля,
Ни болванами из водевиля!

* * *

Пусть юноши не верят в серафимов,
Но упырей они отвергли зря!
И я увидел зубы упыря
У девушки хорошей и любимой.

Она ушла, оставив синий знак
Своих когтей — лиловый след от сабли.
А годы проходили, чувства слабли,
И я забыл вас, милый вурдалак.

Но вот мне часто видится во сне
Высокий дом в лиловых хлопьях мрака.
Мужчина спит, усталый, как собака,
Но розовым распятем на стене —
Рыдающие руки вурдалака,
Всем телом обращенного ко мне.

АМНИСТИЯ

Апокриф

Даже в пекле надежда заводится,
Если в адские вхожа края
Матерь Божия, Богородица,
Непорочная дева моя,
Она ходит по кругу проклятому,
Вся надламываясь от тягот,
И без выборов каждому пятому
Ручку маленькую подает.
А под сводами черными, низкими,
Где земная кончается тварь,
Потрясает пудовыми списками
Ошарашенный секретарь.
И кричит он, трясясь от бессилия,
Поднимая ладони свои:
— Прочитайте вы, дева, фамилии,
Посмотрите хотя бы статьи!
Вы увидите, сколько уводится
Неудобного Небу зверья, —
Вы не правы, моя Богородица,
Непорочная дева моя!
Но идут, но идут сутки целые
В распахнувшиеся ворота
Закопченные, обгорелые,
Не прощающие ни черта!
Через небо глухое и старое,
Через пальмовые сады
Пробегают, как волки поджарые,
Их расстроенные ряды.

И глядят серафимы печальные,
Золотые прищутив глаза,
Как открыты им двери хрустальные
В трансцендентные небеса;
Как крича, напирая и гикая,
До волос в планетарной пыли,
Исчезает в них скорбью великая
Умудренная сволочь земли.
И, глядя, как кричит, как колотится
Оголтевшее это зверье,
Я кричу:
— Ты права, Богородица!
Да святится имя твое!

Колыма. Зима 1940 г.

* * *

Я не соблюл родительский обычай,
Не верил я ни в чох, ни в птичий грай —
Ушли огни, замолк их гомон птичий,
И опустел иконописный Рай.
Взгляни теперь, как пристально и просто
Вдали от человеческих нор и гнезд
Глядят кресты таежного погоста
В глаза ничем не возмутимых звезд.
Здесь сделалась тоска земли близка мне,
Здесь я увидел сквозь полярный свет,
Как из земли ползут нагие камни
Холодными осколками планет.
Могила неизвестного солдата!
Остановись, колени преклоня,
И вспомни этот берег ноздреватый,
Зеленый снег и на снегу — меня.
Здесь над землей, израненной и нищей,
Заснувшей в упование наготы,
Я обучался кротости кладбища —
Всему тому, что не умеешь ты.

Зима 1941 г.

НАДПИСЬ НА КНИГЕ

И я умел сажать Иуду
В ему принадлежащий ад,
И я не удивлялся чуду,
Которым женщину творят.

И все сминая, всем ликуя,
Я тоже был в числе таких,
Что, словно раковину морскую,
Тугую створку рвут у них.

И я ходил по тропке торной,
Далекой от добра и зла,
По тем местам, где кровью черной
Земля заблевана была.

И я, забыв всех бед причину,
Весной, в багровой тесноте,
Нес синеусую скотину
На раззолоченном шесте.

Но счастлив я, что к изголовью
Твоих, о ненависть, могил
Со всепрощающей любовью
Я никогда не подходил!

Что все пройдя, все принимая,
И отрешенный от всего,
Я не просил иного рая
Помимо ада моего!

Здесь все — от строчки и до строчки, —
Что розно пережили мы:
Я — в желтом мраке одиночки,
Ты — в светлом празднестве чумы!

Был пепел жирен, дым был черен,
И дым, и дождь который год!
Но неужель из этих зерен
Уже ничто не прорастет?

МЫШИ

Нет, не боюсь я смертного греха,
Глухих раскатов львиного рычания:
Жизнь для меня отыщет оправданье
И в прозе дней, и в музыке стиха.
Готов вступить я с ним в единоборство,
Хлыстом смирить его рычащий гнев —
Да переменит укрощенный лев
Звериный нрав на песье непокорство!
В иных грехах такая красота,
Что человек от них светлей и выше,
Но как пройти мне в райские врата,
Когда меня одолевают мыши?
Проступчков ничтожные штришки:
Там я смолчал, там каркнул, как ворона.
И лезут в окна серые грешки,
Лихие мыши жадного Гаттона.
Не продавал я, не искал рабов,
Но мелок был, но надевал личины...
И нет уж мне спасенья от зубов,
От лапочек, от мордочек мышиных...
О нет, не львы меня в пустыне рвут:
Я смерть приму с безумием веселым.
Мне нестерпим мышиный этот зуд
И ласковых гаденышей уколы!
Раз я не стою милости твоей,
Рази и бей! Не подниму я взора.
Но, Боже мой, казня распятем вора,
Зачем к кресту ты допустил мышей?!

Из письма Кларе Турумовой

...Ты знаешь, всякая настоящая большая идея и настоящая красота могут сказать о себе словами Евангелия: «Берегитесь... Многие придут под моим именем и будут говорить «Это я», и многих прельстят!»

В этих многих, говорящих «Это я», и есть страшная опасность для неискушенного организма. Тут всякий маргарин сойдет за масло... Будьте повзыскательнее и позорче, и вы сразу увидите, какая иногда пустота орет «Это я» и что за залежалый товар она продает.

Я однажды нашел в лесу чугунную копилку с надежными запорами, и когда после очень долгой возни разломал ее, то оказалось, что она полна «катеньками» (сто руб.), банкнотами, стоящими теперь дешевле той бумаги, на которой они напечатаны. Но эта чугунная колода хранила их так истово и гордо, как и 40 лет тому назад, когда все это было богатством. Сколько таких копилочек ходит по свету — и все думают, что их замки и запоры хранят капитал, а открой и увидишь — это порченная гербовая бумага царя Гороха.

1960 г., осень

ПОЭТ И МУЗА

ДЕРЖАВИН

О домовитая ласточка!
О милосизая птичка!
Грудь краснобела, касаточка,
Летняя гостья, певичка!
.....
Восстану, — и в бездне эфира
Увижу ль тебя я, Пленира?

Державин. Ласточка

I

К чужим стихам взыскательно-брюзглив,
Он рвет листы — тоскующий задира, —
Год пролетел, как умерла Пленира,
Свирель цела, но глух ее мотив:
«Ла-ла, ла-ла! Ты должен быть счастлив
Сияньем благ, невидимых для мира.
Обвита элегическая лира
Листами померанцев и олив.
Почто ж грустишь, великий муж?»
— Я жив,
Как тяжело с живыми мне, Пленира!

II

Скрипя безостановочно пером
И рассыпая голубую влагу,
Он пишет: «Хладные к гражданственному благу,
Вы златом убираете свой дом.
(Перо порвало толстую бумагу,
И волосы сверкнули серебром,

Тем матовым сияньем неживого,
Что притупляет голову и взгляд,
В долине старости ни Муз и ни Наяд —
Амур грустит у камня гробового.)
Вы совесть променяли на венки,
На алчное ласкательство прелестниц». —
Встает. Не трость по переходам лестниц —
Стучится кровь в холодные виски.

«Таким рожден я — гордым и простым!»
Медлительная догорает осень,
Тихи закаты — золото и просинь
Плывут над парком — тоже золотым.
Свирель поет: «Будь спутником моим,
И молодость даров твоих запросит.
Кто мудр и тих — того прекрасна осень,
Тот любит дев и Музами храним».
Свирель сулит: «Будь спутником моим,
И женщина твою украсит осень».
Он ей: «Молчи! Есть камень на откосе,
Есть белый крест — моя любовь под ним!»

III

Река. Молчит алеющая гладь,
Все в красных, желтых, белых позументах.
Стоят рябины в гроздьях, словно в лентах,
И клены собираются взлетать;
Растет поганка на трухлявой ножке,
Скрипит зеленый гравий на дорожке,
Осенним солнцем налиты кусты,
В глухих аллеях небо, как окошко,
В них иволга орет, как будто кошка,
И падают, и падают листья.

Беседка Муз. На круглой крыше лира,
Она уж покосилась, и давно
Разбито разноцветное окно.
Внутри темно, не прибрано и сыро...
Он снял колпак и думает: «Пленира!
Здесь смерть взяла твое веретено».
А жизнь течет, бежит горох по грядке,

Кудрявясь, вьются кисточки плюща,
И кружатся, и носятся касатки,
Взлетая, упадая, трепеща.
О, птица малая! То в небе золотом,
То над тростинкой зябнущей и чуткой
Сверкают потемневшим серебром
И чернью отороченные грудки.
Заботницы! Вверх-вниз, туда-сюда
Несетесь вы в распахнутом паренье,
Где ж ваш приют, касаточки? Куда
Течете вы, как воздух и вода,
Храня зарю на сизом оперенье?
Как колокольчик горлышко у вас,
Вся жизнь — полет, а отдых — только час!
Так он стоит, прижав ладонь к виску,
Весь в переливах осени и света.
«Вот ласточки!— и смотрит на реку.—
Ты жизнь моя?..»

И долго ждет ответа.

ВЕНЕВИТИНОВ

Внимайте: чтоб сего кольца
С руки холодной не снимали; —
Пусть с ним умрут мои печали
И будут с ним схоронены.

«Завещание»

Века промчатся, и быть может
Что кто-нибудь мой прах встревожит
И в нем тебя откроет вновь.

«К моему перстню»

Среди могильной пыли
И сами все в пыли,
Мы гроб его открыли
И перстень извлекли.
Среди могильной пыли
Кладбищенской земли.
Из тесной домовины
Мы вынесли на свет
Его большой и длинный
Мальчишеский скелет.
Из тесной домовины,
Тесней которой нет;
И вот два музыканта,
Девушка знойных лет,
Два франта-аспиранта
И дед-пушкиновед,
Священники без шапок,
И в шапке землекоп,

И мы, две мелких шавки,
Разглядываем гроб.
Там, чуждый нашим спорам,
Лежит уж сколько лет
Тот мальчик, о котором
У нас суждений нет.
Тот мальчик, о котором
Конца нет нашим спорам,
Но правды тоже нет.

И шептались духовные лица:
«Если руки простерты на бедра,
Это значит: самоубийца...»
Ах, молчите, духовные лица!

Спи, мой юный, мой чистый, мой гордый!
Не достать их догадливой сплетне
До любви твоей двадцатилетней.
У нее — ни морщин, ни седины,
И ни повода, ни причины,
Ни начала, ни окончанья,
Только радуги, только звучанья,
Только свет из глазничных отверстий
Все светлей озаряет твой перстень,
Да шумит покрывало у милой,
Что пришла погрустить над могилой.

Что ж грустить? Не звала, не любила,
Только перстень она подарила,
Только перстнем она одарила,
Только гибелью благословила.
Осветила мучительным взглядом,
Напоила любовью, как ядом;
И твое утомленное тело,
Словно яблочный цвет, облетело,
Оставляя на старом погосте
Черный перстень да белые кости.

Так лежи, возлагая на бедра
В отверженьи, в бессмертьи пустом
Эти руки, простертые гордо, —
Но не сложенные крестом!

Пусть плюются духовные лица,
Негодующей верой полны,
И над черепом самоубийцы
Видят синий огонь сатаны!
Пусть трясут они гривую конскою,
Вспоминают евангельский стих, —
Там посмотрят княгиню Волконскую
И не очень послушают их!

ГНЕДИЧ И СЕМЕНОВА

Мой путь одинок я кончаю,
И хилую старость встречаю
В домашнем быту одинок:
Печален мой жребий, удел мой жесток.

Гнедич

Благоговей богомольно
Перед святыней красоты...

Пушкин

«Она красавица, а я урод —
Какой все это примет оборот?
Я крив и ряб. Я очень, очень болен.
Она легка, как золотая пыль,
В ее игре и блеск, и водевиль,
А я угрюм и вечно недоволен.
Я хмурюсь, а она, смеясь, поет.
Какой все это примет оборот?»

Но, други милые, она ведь так прекрасна!
В моей квартире, гулкой и пустой,
Она такой сияет красотой,
Таким покоем — ласковым и ясным,
Как будто бы в жилище дикаря,
Какого-то сармата или скифа,
Из Индии с кораллового рифа
Спустилась Эос — юная заря.

Но дева милая! Нет, вы не Антигона,
Вы муза романтических поэм.
Пред кем же я теряюсь?! Перед кем
Склоняюсь и безмолвствую влюбленно?
Громка моя размеренная речь,
Вся в плавной неподвижности покоя.
Есть стих, как конь, есть стих, как бранный меч,
Есть стих, как слон перед началом боя!
Такой мой стих, да я-то не такой
Пред вашей равнодушной красотой.
Вот отчего, рассудок разлюбя,
Мгновенно забывая все на свете,
Одну лишь вас имею я в предмете,
Лишь вас одну. — Тебя! Тебя! Тебя!»

Отходит от трюмо и вперевалку
Берет свой плащ, разыскивает палку —
И в дверь бегом.

На берегу реки

Над камнями расселись рыбаки,
Достали где-то щепок на растопку,
Над огоньком повесили похлебку
И разговором занялись простым.
Как вдруг глядят: развалистый и рябый,
Большой и желтокожий, словно жаба,
Высокий человек подходит к ним.
На нем убор блестящий, плащ крылатый;
Взглянул на них, поближе подошел,
Цилиндр снял, поправил свой хохол
И говорит:

— Как здравие, ребята?

— Спасибо, ничего.

— Вы чьи?

— Да чьи? Мы из деревни Светлые Ручьи.

— А, из деревни!— и единым оком

Он смотрит неподвижно и жестоко.

— Так из деревни?— подошел к воде

И жадно мочит лоб, лицо и шею.

— Что ж, выпивши?

— Да пить-то не умею,

А помогает, говорят, в беде.

— Что ж за беда-то?

Вдруг взмахнул рукою,
Сквозь зубы выругался и пошел.
И вдруг Омир, огромен и тяжел,
В колокола ударил над Невою.
Бежит, спешит, тяжелый и большой,
Все выше, выше поднимая спину,
И слышат рыбаки, как он запел:
«Гнев, о богиня, воспой
Ахиллеса, Пелеева сына».

КЛЮШНИКОВ

Однажды, поднимаясь от залива,
На памятник наткнулся я красивый:
Средь горных сосен, в узком их кругу,
Стоял он, ангел отрешенный, белый,
И девушка в хитоне паче мела
Грустила на высоком берегу.
Ее лицо, бровей ее дугу,
Все для полета собранное тело
И эту невесомость без предела —
Власть мрамора и розы на снегу.
Воспоминанье общее об этом
Я сохранил донныне. Пьедестал
Тяжеловесным золотом блистал
И отдан был лирическим поэтам:
Некрасов, Майков, Тютчев, Пушкин, Блок,
Конечно, Надсон, Лермонтов, Плещеев...
Кто притащил строку, кто десять строк,
Невесту провожая в дом Кощеев.
И говорил лирический букет:
«Люблю тебя, хотя тебя и нет!»
Как вдруг с высокой глыбы пьедестала
Совсем иная надпись проблистала:
«Я не люблю тебя, мне суждено судьбою,
Не полюбивши, разлюбить.
Я не люблю тебя моей больной душою,
Я никого не буду здесь любить.
Я не люблю тебя, я обманул природу,
Тебя, себя, знакомых и чужих,

Когда свою любовь и бедную свободу
Я положил у милых ног твоих.
Я не люблю тебя, но, полюбив другую,
На сотни мук я б осудил себя —
И как безумный, я и плачу, и тоскую —
Все об одном: я не люблю тебя».
И подпись: «Клюшников». Да кто же он такой,
Обвинивший крест у Южного залива?
Но как ни напрягаю разум свой,
А многого не вырву из архива!
Да, при Белинском был такой поэт,
Одна из звездочек его плеяды,
Его и в словарях искать не надо,
И в сборниках его, конечно, нет.
Но кости, погребенные в могиле,
Его стихов, конечно, не забыли.
А тишина! А тишина кругом!
Лишь зелень утомленная, да море,
Да девушка на камне гробовом,
Парящая в оранжевом просторе,
Да власть стиха! Немного лет назад
(Немного лет, раз есть стихи из Блока)
Стихами отправляли в Рай и в Ад,
И грозен был тяжелый ямб пророка.
Стихами убивали, и стихи
Врезали в мрамор, как эпитафия к смерти.
Их не стирали ни дожди, ни мхи,
Не заслоняли ни кресты, ни жерди.
Был стих суров, как воинский приказ,
И в оный день отчаянья и гнева
Он прогремел, и даже Бог не спас
Его лучом пронизанную деву,
А был ли то литературный жест,
Слеза ли Демона пробила камень, —
Ей все равно: над ней разводит крест
Недоуменно белыми руками.

Спускаюсь вниз — закат уже погас,
Знакомая актриса в пестрой шали
Идет навстречу: «А мы вас ждали, ждали,
Мы совершенно потеряли вас».
Гляжу на губы, на лиловый грим,

На тонкие и выпренные брови:
«Там, на горе...» Мы долго говорим
О странной ненавидящей любви.
Когда искусство превратилось в кровь,
Тогда собьешься и не скажешь сразу,
Где жест актера перешел в любовь,
А где любовь переродилась в фразу!

КОЗЛОВ

Певец! Когда перед тобой
Во мгле сокрылся мир земной...

Пушкин. Козлову

«Ночь весенняя дышала
Светло-южною красой,
Тихо Brenta протекала,
Серебряная луной»*.
Тихо в сумрачном канале,
Отражающем луну,
Дева в черном покрывале
Молча смотрит на волну.
Он гребет, на лодке стоя,
Быстрый, яркий, как волна,
Но красавца за фатою
Не заметила она.
И не слышит, как в палаты
Бьет напевная волна.

.....
Ночь и грязь. Домов квадраты
Крестит дождик полосатый.
Тучи мчатся, ночь темна.
Заиграл сверчок на печке,
Ветер кинулся в окно;
Оплывают тихо свечки,

* «Венецианская ночь».

Утомленные давно.
Мелкий дождик нудит, нудит...
Дочка борется со сном.
Может, хватит, может, будет?
Может, тоже отдохнем?

Но вперяя взгляд лучистый
И сжимая пальцы рук,
«Заструился пар душистый!»—
Ты приказываешь вдруг.
И опять цветы и маски,
И рапиры, и щиты,
И корсеты, и подвязки —
Все взбесившиеся краски
Разъяренной красоты.

Знаешь? Я с тобой согласен:
Из скворешен и квартир
До нелепости ужасен
Этот вылинявший мир.
Так хватай же кисти смело
И не бойся ничего —
Только синим, только белым,
Только красным крой его!
И тогда средь одиночки,
Вдохновенной слепоты,
Из тугой и жесткой почки
Хлынут липкие цветы.
Ты увидишь на мгновенье
Неподвижно и светло
Все, что гибнущее зренье
В темноту перенесло.
То, стыдясь и хорошея,
Вновь вошла в свои права
Абсолютная идея —
Неподвижность божества.
Светлый рай олеографий —
Красота добра и зла,
Все, что нам на мокрый гравий
С неба Муза принесла.

* * *

Так мы забываем любимых
И любим немилых, губя,
Так холодно сердцу без грима
И страшно ему без тебя.
В какой-нибудь маленькой комнате
В далеком и страшном году
Толкнет меня сердце: «А помните...»
И вновь я себя не найду.
Пойду, словно тот неприкаянный,
Тот жалкий, растрепанный тот,
Кто ходит и ищет хозяина
Своих сумасшедших высот.
Дойду до надежды и гибели,
До тихой и мертвой тоски,
Приди ж, моя радость, и выбели
Мне кости, глаза и виски!
Все вычислено заранее
Палатою мер и весов —
И встречи, и опоздания,
И судороги поездов.
И страшная тишь забвения,
И кротость бессмертной любви,
И это вот стихотворение,
Построенное на крови...

НАДПИСЬ НА ФОТО

Сонет

Моя тоска вступила в год седьмой.
Лесами с Осетрово до Тайшета
Меня влекла, гнала твоя комета,
И ночью я беседовал с тобой.
Ты мне была и счастьем, и судьбой,
И сумерком, и ясностью рассвета.
Не тронута и до дыры запета,
Как рельса, прогудевшая отбой.
Так за годами годы шли. И вот
Все прояснило, в горечи невзгод,
В блатных напевах, в сказке о насадке
(О гадине, что дают напоказ)
Я прочитал, что Бог тебя упас
От рук моих и от петли на ветке.

КАМПАНЕЛЛА — ПАЛАЧУ

«Ласточка» — смирительная рубаха.

О пытка! Я ль тебя не знаю!
Со мной ли ты была слаба!
Стирая пот и кровь со лба,
Я как любовник припадаю
На чресла острые твои,
Но страшен пыл твоей любви!
Твои пеньковые объятия
И хруст взбесившихся костей,
И поцелуи, и заклатья —
Все то, что не сумею дать я
Иной любовнице моей.
Узлом завязанное тело,
Душа, присохшая к кости...
О! До какого же предела
Тебе, изгнанница, расти?
Взмахни ж крылом, и будем рядом,
Все выше, дальше, чуть дыша,
И вот пред Господом с парадом
Идет мертвец с зеленым взглядом
И постаревшая душа.
Они идут, огнем палимы, —
Два вида сущностей иных.
И громко славят серафимы
Условным песнопеньем их.
А там идет еще работа,

Кипит последняя борьба,
Палач, издерганный до пота,
Отбросил волосы со лба.
Он встал, взыскательный маэстро,
И недоволен, и суров,
Над жалкой гибелью оркестра
Своих веревочных станков.
Ну что ж, здоровая скотина,
Чего там думать? Вот я здесь!
Возьми, к огню меня подвесь,
Сломай мне ребра, жги мне спину!
Не бойся, тешь собачью спесь,
Веревка сдаст — найдешь дубину!
И будь спокоен — вот я весь,
Не обману и не покину!

* * *

Какая злобная собака
Ты, мой сосед — товарищ Грозь.
Я много видел, и, однако,
Такой мне видеть не пришлось!
Всегда встревоженный, понурый,
С тяжелой палкой у плеча,
Из конуры ты смотришь хмуро,
Весь содрогаясь и рыча.
И только кто погрееет спину,
Кто встанет к печке, как к стене,
Ты вздыбишь черную щетину
И заколотишься в слюне.
И кинешь громы и проклятья,
О доски палкою стуча, —
Кляня всех немцев без изъятья
И всех евреев сообща!
И снова мир стоит на месте,
Но как тому не повезло,
Кто, как и я, в своем аресте
Лишь мировое видит зло.
Он ходит грустный и печальный
И был бы несказанно рад
Узнать, что кто-то персональный
В его несчастье виноват.
Хожу, сижу, с судьбою споря,
Тяну наскучившую нить.
И кроме вечных категорий
(Добро и зло, земля и море)
Увы! Мне некого винить!

ЧЕКИСТ

Я был знаком с берлинским палачом,
Владевшим топором и гильотиной.
Он был высокий, добродушный, длинный,
Любил детей, но выглядел сычом.

Я знал врача, он был архиерей;
Я боксом занимался с езуитом.
Жил с моряком, не видевшим морей,
А с физиком едва не стал спиритом.

Была в меня когда-то влюблена
Красавица — лишь на обертке мыла
Живут такие девушки, — она
Любовника в кровати задушила.

Но как-то в дни молчанья моего
Над озером угрюмым и скалистым
Я повстречал чекиста. Про него
Мне нечего сказать — он был чекистом.

Из письма Кларе Турумовой

...Ты знаешь, чем ты да я отличаемся в основном от сазана или гадюки? Тем, что мы имеем свою собственную постоянную температуру крови, не зависимую от окружающей среды, — а те своего тепла не имеют: лежат на камне и сами холодны, как камень. Вот это и есть основное: иметь свою температуру, тогда чужая тебя не охладит и не нагреет.

Ты пишешь о вечере одного стихотворения и о том, какое впечатление произвели на тебя эти молодые петушки, старающиеся кукарекать под старых. Милая, пойми, все это действительно смешно, но ничуть не трагично. Это еще не та пошлость, которую нужно бояться и ненавидеть пуще всего: та иногда непобедима — ибо почти неуловима. А «Мы ответим — железная поступь» — просто восхитительно глупо, и только. Ну есть тут отчего задумываться, терять голову, задавать вопросы? Поступай по Данте: «Взгляни — и мимо!»

10 декабря 1960 г.

«НАСЕДКА»

Когда нам принесли бушлат,
И, оторвав на нем подкладку,
Мы отыскали в нем тетрадку,
Где были списки всех бригад,
Все происшествия в бараке,
Все разговоры, споры, драки,
Всех тех, кого ты продал, гад!
Мы шесть билетиков загнули —
Был на седьмом поставлен крест.
Смерть протянула длинный перст
И ткнула в человеческий улей...
Когда в бараке все заснули,
Мы встали, тапочки обули,
Нагнулись чуть не до земли
И в дальний угол поползли.

Душил «наседку» старый вор,
И у меня дыханье сперло,
Когда он, схваченный за горло,
Вдруг руки тонкие простер,
И быстро посмотрел в упор,
И выгнулся в предсмертной муке,
Но тут мне закричали: «Руки!»
И я увидел свой позор,
Свои трусливые колени
В постыдной дрожи преступленья.
Конец! Мы встали над кутком,
Я рот обтер ему платком,
Запачканным в кровавой пене,

Потом согнул ему колени,
Потом укутал с головой:
«Лежи спокойно, Бог с тобой!»

И вот из досок сделан гроб,
Не призма, а столярный ящик.
И два солдата проходящих
Глядят на твой спокойный лоб.
Лежи! Кирка долбит сугроб.
Лежи! Кто ищет, тот обрящет.
Как жаль мне, что не твой заказчик,
А ты, мороженный в сугроб,
Пошел по правилу влюбленных
Смерть обнимать в одних кальсонах.

А впрочем: для чего наряд?
Изменник должендохнуть голым.
Лети ж к созвездиям веселым
Сто миллиардов лет подряд!
А там земле надоедят
Ее великие моголы,
Ее решетки и престолы,
Их гнусный рай, их скучный ад.
Откроют фортку: выйдет чад,
И по земле — цветной и голой —
Пройдут иные новоселы,
Иные песни прозвучат,
Иные вспыхнут Зодиаки,
Но через миллиарды лет
Придет к изменнику скелет —
И снова сдохнешь ты в бараке!

УБИТ ПРИ ПОПЫТКЕ К БЕГСТВУ

Мой дорогой, с чего ты так сияешь?
Путь ложных солнц — совсем не легкий путь!
А мне уже неделю не заснуть:
Заснешь — и вновь по снегу запагаешь,
Опять услышишь ветра сиплый вой,
Скрип сапогов по снегу, рев конвоя:
«Ложись!» — и над соседней головой
Взметнется вдруг легчайшее, сквозное,
Мгновенное сиянье снеговое —
Неуловимо тонкий острый свет:
Шел человек — и человека нет!

Солдату дарят белые часы
И отпуск в две недели. Две недели
Он человек! О нем забудут псы,
Таежный сумрак, хриплые метели.
Лети к своей невесте, кавалер!
Дави фасон, показывай породу!
Ты жил в тайге, ты спирт глушил без мер,
Служил Вождю и бил врагов народа.
Тебя целуют девки горячо,
Ты первый парень — что ж тебе еще?

Так две недели протекли, и вот
Он шумно возвращается обратно.
Стреляет белок, служит, водку пьет!
Ни с чем не спорит — все ему понятно.
Но как-то утром, сонно, не спеша,
Не омрачась, не запирая двери,

Берет он браунинг.

Милая душа,
Как ты сильна под рыжей шкурой зверя!
В ночной тайге кайлим мы мерзлоту,
И часовой растерянно и прямо
Глядит на неживую пустоту,
На пустоту и холод этой ямы.
Ему умом еще не все обнять,
Но смерть над ним крыло уже простерла.
«Стреляй! Стреляй!» В кого ж теперь стрелять?
«Из горла кровь!» Да чье же это горло?
А что, когда положат на весы
Всех тех, кто не дожили, не допели?
В тайге ходили, черный камень ели
И с храпом задыхались, как часы.
А что, когда положат на весы
Орлиный взор, геройские усы
И звезды на фельдмаршальской шинели?
Усы, усы, вы что-то проглядели,
Вы что-то недопоняли, усы!

И молча на меня глядит солдат,
Своей солдатской участи не рад.
И в яму он внимательно глядит,
Но яма ничего не говорит.
Она лишь усмехается и ждет
Того, кто обязательно придет.

1949 г.

ВСТУПЛЕНИЕ К РОМАНУ
«ФАКУЛЬТЕТ НЕНУЖНЫХ ВЕЩЕЙ»

Везли, везли и завезли
На самый, самый край земли.
Тут ночь тиха, тут степь глуха,
Здесь ни людей, ни петуха,
Здесь дни проходят без вестей:
Один пустой, другой пустей,
А третий — словно черный пруд,
В котором жабы не живут.

Однажды друга принесло,
И стали вспоминать тогда мы
Все приключенья в этой яме
И что когда произошло.
Когда бежал с работы Войтов,
Когда пристрелен был такой-то.
Когда, с ноги стянув сапог,
Солдат — дурак и недородок —
Себе сбрил пулей подбородок
И мы скребли его с досок.
Когда мы в карцере сидели,
И ногти ели, песни пели,
И еле-еле не сторели.
Был карцер выстроен из ели
И так горел, что доски пели!
А раскаленные метели
Метлою закрутили воздух,
И еле-еле, еле-еле
Не улетели с нами в звезды!

Когда ж все это с нами было?
В каком году, какой весной?
Когда с тобой происходило
Все, происшедшее со мной?
Когда бежал с работы Войтов?
Когда расстрелян был такой-то?
Когда солдат, стянув сапог,
Мозгами ляпнул в потолок?
Когда мы в карцере сидели?
Когда поджечь его сумели?
Когда? Когда? Когда? Когда?
О, бесконечные года! —
О, дни без слухов и вестей:
Один пустой, другой пустей.
О время, скрученное в жгут!
Рассказ мой возникает тут...

Мы все лежали у стены —
Бойцы неведомой войны,
И были ружья всей страны
На нас тогда наведены.
Обратно реки не текут,
Два раза люди не живут,
Но суд бывает сотни раз!
Про этот справедливый суд
И начинаю я сейчас.
Печален будет мой рассказ.
Два раза люди не живут...

* * *

Меня убить хотели эти суки,
Но я принес с рабочего двора
Два новых наостренных топора.
По всем законам лагерной науки
Пришел, врубил и сел на дровосек;
Сижу, гляжу на них веселым волком:
«Ну что, прошу! Хоть прямо, хоть проселком...»
— Домбровский,— говорят,—

ты ж умный человек,
Ты здесь один, а нас тут... Посмотри же!
— Не слышу,— говорю,—
пожалуйста, поближе!

Не принимают, сволочи, игры.
Стоят поодаль, финками сверкая,
И знают: это смерть сидит в дверях сарая,
Высокая, безмолвная, худая,
Сидит и молча держит топоры!
Как вдруг отходит от толпы Чеграш,
Идет и колыхается от злобы:

— Так не отдашь топор мне?
— Не отдашь!
— Ну, сам возьму!
— Возьми!
— Возьму!
— Попробуй!

Он в ноги мне кидается, и тут,
Мгновенно перескакивая через,
Я топором валю скуластый череп,
И — поминайте, как его зовут!

Его столкнул, на дровосек сел снова:
«Один дошел, теперь прошу второго!»

И вот таким я возвратился в мир,
Который так причудливо раскрашен.
Гляжу на вас, на тонких женщин ваших,
На гениев в трактире, на трактир,
На молчаливое седое зло,
На мелкое добро грошовой сути,
На то, как пьют, как заседают, крутят,
И думаю: как мне не повезло!

МАРИЯ РИЛЬКЕ

Выхожу один я из барака,
Светит месяц, желтый, как собака,
И стоит меж фонарей и звезд
Башня белая — дежурный пост.
В небе — адмиральская минута,
И ко мне из тверди огневой
Выплывает, улыбаясь смутно,
Мой товарищ, давний спутник мой!
Он — профессор города Берлина,
Водовоз, бездарный дровосек,
Странноватый, слеповатый, длинный,
Очень мне понятный человек.
В нем таится, будто бы в копилке,
Все, что мир увидел на веку.
И читает он Марии Рильке
Инеем поросшую строку.
Поднимая палец свой зеленый,
Заскорузлый, в горе и нужде,
«Und Eone redet mit Eone»,—
Говорит Полярной он звезде.
Что могу товарищу ответить
Я, делящий с ним огонь и тьму?
Мне ведь тоже светят звезды эти
Из стихов, неведомых ему.
Там, где нет ни время, ни предела,
Ни существований, ни смертей,
Мертвых звезд рассеянное тело —
Вот итог судьбы твоей, моей:

Светлая, широкая дорога —
Путь, который каждому открыт.
Что ж мы ждем? Пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит...

* * *

Пока это — жизнь, и считается
Приходится бедной душе
Со смертью без всяких кассаций,
С ночами в гнилом шалаше.

С дождями, с размокшей дорогой,
С ударом ружья по плечу,
И с многим, и очень со многим,
О чем и писать не хочу.

Но старясь и телом, и чувством
И весь разлетаясь, как пыль,
Я жду, что зажжется Искусством
Моя нестерпимая боль.

Так в вязкой смоле скипидарной,
Попавший в смертельный просак,
Становится брошью янтарной
Ничтожный и скользкий червяк.

И рыбы, погибшие даром
В сомкнувшихся створках врагов,
Горят электрическим жаром
И холодом жемчугов.

Вот так под глубинным давлением
Отмерших минут и годов
Я делаюсь стихотвореньем —
Летучей пульсацией строф.

1940 г.

УТИЛЬСЫРЬЕ

Он ходит, черный, юркий муравей,
Заморыш с острыми мышинными глазами;
Пойдет на рынок, станет над возами,
Посмотрит на воза, на лошадей,
Поговорит о чем-нибудь с старухой,
Возьмет арбуз и хрустнет возле уха.
В нем деловой непримиримый стиль,
Не терпящий отсрочки и увертки —
И вот летят бутылки и обертки,
И тряпки, превращенные в утиль,
Вновь обретая прежнее названье,
Но он велик, он горд своим призваньем:
Выслеживать, ловить их и опять
Вещами и мечтами возвращать!

А было время: в белый кабинет,
Где мой палач синел в истошном крике,
Он вдруг вошел, ничтожный и великий,
И мой палач ему прокаркал: «Нет!»
И он вразвалку подошел ко мне
И поглядел мышинными глазами
В мои глаза — а я был словно камень,
Но камень, накаленный на огне.
Я десять суток не смыкал глаза,
Я восемь суток проторчал на стуле,
Я мертвым был, я плавал в мутном гуле,
Не понимая больше ни аза.
Я уж не знал, где день, где ночь, где свет,
Что зло, а что добро, но помнил твердо:

«Нет, нет и нет!» Сто тысяч разных «нет»
В одну и ту же заспанную морду!
В одни и те же белые зенки
Тупого оловянного накала,
В покатый лоб, в слюнявый рот шакала,
В лиловые тугие кулаки!
И он сказал презрительно-любезно:
— Домбровский, вам приходится писать...
Пожал плечами: «Это ж бесполезно!»
Осклабился: «Писатель, вашу мать!..»

О, вы меня, конечно, не забыли,
Разбойники нагана и пера,
Лакеи и ночные шофера,
Бухгалтера и короли утиля!
Линялые гадюки в нежной коже,
Убийцы женщин, стариков, детей!
Но почему ж убийцы так похожи,
Так мало отличимы от людей?
Ведь вот идет, и не бегут за ним
По улице собаки и ребята,
И здоровствует он цел и невредим —
Сто раз прожженный, тысячу — проклятый.
И снова дома ждет его жена —
Красавица с высокими бровями.
И вновь ее подушки душат снами,
И ни покрышки нету ей, ни дна!
А мертвые спокойно, тихо спят,
Как «Десять лет без права переписки»...
А мне ни мертвых не вернуть назад,
И ни живого вычеркнуть из списков!

*Алма-Ата, рынок
1959 г.*

УКРАДЕННОЕ ФОТО

...Не сводя изумленного взора
И впадая почти в забытье,
Смотрит вор, как струится на вора
Золотое сиянье ее.
Улеглись лиловатые тени
Возле светом прорезанных глаз.
Ты ей дал тишину на мгновенье,
Но от смерти ее ты не спас.
Ты не спас ее от всезнанья,
Ни от добрых и слабых людей,
От томительного ожиданья
Возле чьих-то высоких дверей,
От приятной и колкой язвительности
Прокуроров и их секретарш,
От стыда, от позорной действительности,
Похоронный играющей марш!
От улыбочек: «Вы еще молоды!»
От советов: «А мнение мое —
Выходили бы замуж, вы золото...»
От презренья и гнева — двух молотов,
Разбивающих сердце ее.
Отчего же ты не дал ей силу
Обнажающей мысли нагой?
Отчего, опускаясь в могилу,
Ты все щели закрыл за собой?
Ты ведь знал: жизнь голубит хорошеньких,
Но таких распинает она!
Что ж ты все улыбаешься, брошенка,
Опереточная жена?

ИЗВЕСТНОМУ ПОЭТУ

Нас даже дети не жалели,
Нас даже жены не хотели,
Лишь часовой нас бил умело,
Взяв номер точкою прицела.

Ты в этой крови не замешан,
Ни в чем проклятом ты не грешен,
Ты был настолько независим,
Что не писал «Открытых писем».
И, взвесив все в раздумье долгом,
Не счел донос гражданским долгом.

Ты просто плыл по ресторанам
Да хохмы сыпал над стаканом,
И понял все, и всех приветил —
Лишь смерти нашей не заметил.

Так отчего, скажи на милость,
Когда, пройдя проверку боем,
Я встал из северной могилы,
Ты подошел ко мне героем?
И женщины лизали руки
Тебе — за мужество и муки?!

* * *

Больница. Черный каганец
Все обливает желтым лаком.
Мне надоело наконец
По суткам говорить со всяким.
Подобный школьному ножу,
Я перегнулся и лежу.
А надо мной сидит старик
С лицом, приученным к обидам,
Он думает: а вдруг я выдам
Его кощунственный язык?
Старик, да будь же ты умней,
Не лезь, пожалуйста, в бутылку!
Спокойно ты поедешь в ссылку
Справлять столетний юбилей!
Но до возможности такой
Еще осталась четверть века:
Не мучай, дурень, человека,
Дай мне, пожалуйста, покой!

* * *

Есть дни — они кипят, бегут,
Как водопад весной.
Есть дни — они тихи, как пруд
Под старую сосной.

Вода в пруду тяжка, темна,
Безлюдье, сон и тишь,
Лишь желтой ряски пелена
Да сказочный камыш.

Да ядовитые цветы
Для жаб и змей растут...
Пока кипишь и рвешься ты,
Я молча жду, как пруд!

В карцере

ПЕСНЯ, КОТОРУЮ МЫ ПЕЛИ В ЛАГЕРЕ,
СПАЛИВ Б(АРАК) У(СИЛЕННОГО) Р(ЕЖИМА)
В 1952 ГОДУ

Старые куплеты всем известны,
Новые совсем неинтересны.
В новом БУРе мы сидели,
Песни старые не пели
И вели одну и ту же речь —
Жечь!

Был из круглых бревен БУР построен,
В толщине удвоен и утроен:
Двери, будто бы ворота,
В коридоре встанет рота,
И на окнах черный переплет —
Вот!

Был хозяин БУРа старый мерин,
Был в своих решетках он уверен.
Он задвинет все засовы
И пошел гулять по новой,
Молдаванок щупает подряд —
Гад!

Что ж, гуляй, и мы гульнем, пожалуй.
Трое нас, а я веселый малый.
Вылезаю из кормушки
В коридор, сгребаю стружки,
Ну, а спички у меня всегда —
Да-да!

Сделали, что надо, и сидим.
Пробирается сквозь доски едкий дым.
За стеною шепот, шорох,
БУР горит, как будто порох,
Оголтелый попка в доску бьет —
Вот!

Чтоб с проклятым не сгореть сараем,
Мы из пола доски выдираем.
Эй, дубинушка, подернем!
Выбивай железо с корнем!
Трое мы выходим из огня —
Ну, сучня!

Треск и блеск сквозь дым и пламень бурный!
Волкодавом воет пес-дежурный!
А сучня качает воду
На горящую колоду
И рычит сквозь зубы на меня —
Эх, сучня!

Ради этой экстренной напасти
Собрались все органы и части.
И стоит на планге
Волк в майорском ранге,
Воет и качает головой —
Вой!

Стекла рвутся, тили-бом!
Догорает кошкин дом!
Духи бегают с ведром,
Заливают кошкин дом!
Не спасти вам кошкин дом
Ни багром, ни топором,
Ни шалангой, ни ведром!
Тили-бом да тили-бом,
Догорай ты, кошкин дом!

Трое мы в наручниках стоим,
Трое молча на огонь глядим.
Как пылают сучьи гнезда,

Как летят чины и звезды
И срываются погоны с плеч —
В печь!

Ты гори, моя лучинушка, пылай!
Догорай, пиратский сытый рай!
Их казенные шалманы,
Их бездонные карманы,
Случки и попойки до зари —
Все сгори!

*Из письма Ольге Федоровне Турумовой**

...Я вот никогда не думал в юности, что доживу до 30, 40, 50, 60, и доживал, и как будто ничего не менялось.

Хотя по существу менялось все. Поэтому я понимаю, что к радости у Вас сейчас применяется и чувство горечи и горести. Что тут ни думай — ничего умного не выдумаете, — стареем, да! Вопрос только — как. Вот Гёте считал старость самой счастливой порой своей жизни. Мне это не больно понятно — но важно, что и такой подход, значит, возможен. Я так не думаю, но мне как человеку, который всю жизнь собирал себя (да так и не собрал), доставляет, например, некоторое чувство удовлетворения то, что я сейчас как-то наиболее приспособлен к своей работе. Еще 10, 5 лет было не так. Эта радость — работать в полную возможность, — тоже очень много значит. Мне кажется, это относится и к Вам. Наиболее четко, уверенно, твердо ощущаешь себя в работе. Ведь ни Вы, ни я ничего иного не умеем, кроме как работать по своей специальности. Не будем работать — загнемся, и все. В этом отношении, я уверен, мы очень похожи. Все мое бешенство идет оттого, что я не всегда мог работать — надо зарабатывать, а это чертовская разница! У Вас же работа и заработок совпадают — это великое счастье, и оно редко у кого бывает. Вот в этом году я все-таки, наверное, кончу (обязан!) свою работу, которую волочу уже 8 лет, и поистине вздохну свободнее.

Смогу подумать и о других работах, за которые сейчас взяться не могу. Они тоже меня интересуют — но требуют отдачи полностью. У Вас же все было, есть и будет в руках. Какое великое счастье, когда про себя это можно сказать с таким полным правом — как о Вас скажут друзья в Ваше пятидесятилетие.

Так обнимаю, целую Ваши руки и поздравляю, поздравляю!

Ваш Домбровский

1972 г.

* Мать Клары Домбровской.

* * *

Не знаю, кто меня доводит
И отчего я занемог,
Но кто-то странный во мне ходит
Туда-сюда и поперек.

Я чувствую его под кожей
В сырой тоске грудных костей.
Но чей он — человеческий, божий?
Бесовский или же — ничей?

Иль это я в иных пределах,
В иных отсеках бытия,
Средь лейкоцитов обалделых
В жару, в бреде — все я да я?

Вот так на монастырских сводах
Парит иконописный Бог.
А этот, странный, ходит, ходит
По ним не вдоль, а поперек.

1977 г.

КОГДА ЖЕСТОКИЙ ПРИГОВОР УДАЛИТ МЕНЯ, НЕ ДОПУСКАЯ НИКОГО ВЗЯТЬ МЕНЯ НА ПОРУКИ, — МОЯ ЖИЗНЬ БУДЕТ НАХОДИТЬСЯ В ЭТИХ СТИХАХ. ТЫ В НИХ СНОВА И СНОВА УВИДИШЬ ТО ГЛАВНОЕ, ЧТО БЫЛО ПОСВЯЩЕНО ТЕБЕ. ЗЕМЛЯ МОЖЕТ ЗАБРАТЬ СЕБЕ ЛИШЬ МОЙ ПРАХ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЙ ЕЙ. НО ДУХ МОЙ — ОН У ТЕБЯ. А ЭТО МОЯ ЛУЧШАЯ ЧАСТЬ. ПОЭТОМУ ТЫ УТРАТИШЬ ЛИШЬ ПОДОНКИ ЖИЗНИ, ДОБЫЧУ ЧЕРВЕЙ, МОЙ ТРУП, ЖЕРТВУ ПОДЛОГО НОЖА ТРУСА, СЛИШКОМ ЖАЛКУЮ, ЧТОБЫ ЕЕ ЕЩЕ ВСПОМИНАТЬ. ЕДИНСТВЕННО ДРАГОЦЕННЫМ БЫЛО ТО, ЧТО СОДЕРЖАЛОСЬ ВО МНЕ. И ВОТ ОНО — С ТОБОЙ.

В. Шекспир. Сонет 74

(подстрочный перевод Ю. Домбровского)

Приложение

ПРОЗА
ПИСЬМА

В июньский очень душный вечер он валялся на диване и не то спал, не то просто находился в тревожном забытьи, и сквозь бред ему казалось, что с ним опять говорят по телефону. Разговор был грубый, шантажный; ему угрожали: обещали поломать кости или еще того хуже — подстеречь где-нибудь в подъезде да и проломить башку молотком. Такое недавно действительно было, только убийца орудовал не молотком, а тяжелой бутылкой. Он саданул сзади по затылку. Человек, не приходя в сознание, провалялся неделю в больнице и умер. А ему еще не исполнилось и тридцати, и он только-только выпустил первую книгу стихов.

От этих мыслей он проснулся и услышал, что ему, верно, звонят.

Он подошел к телефону и поглядел в окно. Уже стемнело. «Опять приеду ночью», — подумал он и снял трубку.

— Да, — сказал он.

Ему ответил молодой, звонкий, с легкой наглечей голосок:

— А кто говорит?

«Это уже другой, — понял он. — Да их там полная коробка собралась, что ли?» — и спросил:

— Ну а кого нужно-то?

— Нет, кто со мной говорит?

— Да кого нужно?

— Может, я не туда попал. Кто...

— Туда, туда, как раз туда. Мне сегодня уже четверо ваших звонили. Так что давай.

— Ах, это ты, сука позорная, писатель хренов. Так вот помни: предупреждаем последний раз — если ты, гад, не прекратишь своей гнусной...

— Подожди. Возьму стул. Слушай, вам что, такие шпартгалки, что ли, там раздают? Что вы все шпарите одно и то же? Не вижу у вас свободного творчества, полета мысли. Хотя бы слово от себя, а то все от дяди.

— От какого еще дяди?

— От дяди Зуя. Нет, серьезно, что, у вас своих голов нету? Только «сука позорная», только «башку проломим», только «гнусная деятельность». Впрочем, один ваш хрен говорит «деятельность». Деятели! Передай ему привет!

— Ладно, нечего мне зубы заговаривать. Они у меня здоровые.

— Эх, и хорошо по таким лупить!

— Ах ты! — На секунду даже обомлела трубка. — Да я тебя живьем сгрызу.

— А ты далеко от меня?

— Где бы ни был, а достанем. Так что предупреждаем — и последний раз...

— Стой! Кто-то звонит. Не бросай только трубку.

Он подошел к двери, поглядел в глазок и увидел, что стоит та, которую ждал уже три дня и которая еще сегодня утром была ему нужна до зарезу. Она должна была сниматься в его фильме, и ее знала и любила вся страна. Ее портреты, молодые, прекрасные, улыбающиеся, висели в фойе почти каждого кинотеатра, ее карточками пестрели газетные киоски. Ее всегда узнавали, когда она появлялась с ним на улице. Он очень, очень ждал ее эти три проклятущих дня, но сейчас она была ему просто ни к чему.

«Вот еще принесло на мою голову, — подумал он, — что это все на меня сразу стало валиться».

Он открыл дверь. Она не вошла, а влетела и сразу бросилась к нему. Даже не к нему, а на него. У нее было такое лицо, и она так тяжело дышала и так запыхалась, что несколько секунд не могла выговорить ни слова.

— Ну что с тобой? — спросил он грубовато. — Ну окстись! Вид-то, вид-то! — И он слегка потряс ее за плечи. — Ну!

Она облизнула сухие губы.

— Ой, как рада вас видеть здоровым. Ваш телефон все время занят.

— Ну да, спал я и снял трубку. Звонит всякая шушера.

— Вот и брату звонили, требовали вас, грозили подстеречь в подъезде, я только что вернулась со съемок, и он мне это сказал. Я сразу же бросилась сюда. Видите, даже не переделась.

На ней, верно, был рабочий костюм, брюки, блузка, большие солнечные очки.

— Ну, тогда садись и передыхай. Я сейчас кончу разговор. Ты слушаешь, мужик? — спросил он трубку. — Молодец. Так вот, ты далеко от меня?

— Да зачем тебе это нужно? — В голосе теперь вдруг прозвучала настоящая растерянность. Сзади как будто слышались еще голоса. — Выследить, гад, хочешь?

— Нет, хочу сделать одно деловое предложение. Ты не раз был возле меня и все там знаешь. Ну как же? Раз убивать собираетесь, значит, все вы там знаете. Так вот, наискосок от меня пустырь. Там раньше стояла развалюха, а теперь ее снесли. А там алкаши до одиннадцати водку трескают, знаешь?

— Ну, да что ты такое заводишь, козел?

— Так вот предложение. Сейчас там никого нет. Алкаши сидят по домам. Через пятнадцать минут я туда выйду и буду тебя ждать. Приходи. Хоть с молотком, хоть с бутылкой, хоть один, хоть с кодрой — я буду вас ждать. Договорились...

— Да ты что, сука... Да я ж тебя...

— Стой, не ругаться! Остолоп, все это осточертело! — Он слегка оттолкнул актрису, которая ринулась к нему и сжала его пальцы.

— Ради Бога, — сказала она, — ведь это...

Он отмахнулся от нее.

— Так вот, приходи. Поговорим. Но имей в виду, приготовься. Если промахнешься — увезут на «скорой», это я тебе гарантирую. Я умею это делать. Ты же знаешь, где я был, что видел и какой жареный петух меня клевал в задницу.

— Не пугай, сука, мы тебя и на пустыре подстережем. Подожди!

— Ну зачем же меня подстерегать. Я сам иду. Надоели вы мне, болваны, боталы, парчивилки, до смерти.

— Одного такого хорошего, из вашего брата, мазилу уже пристрелили. Из машины...

— Вот видишь, темнило, как там с вами обращаются. Тебе даже не рассказали, кого, за что и как убили. То был не мазила, не врач, а художник. И его застрелил случайно один мусор — инкассатор. Перепугался до смерти и пальнул из машины. А убили в подъезде поэта.

— Ну вот...

— И не вы убили, а кто-то посерьезнее вас. А вы только из автоматных будок за две копейки брешете, как суки. Мудачье вы, и все. Когда хотят убить, так не звонят. Так вот, чтоб через пятнадцать минут ты был там как штык. Понял?

— Дружинников соберешь?

— Не пускай в штаны раньше времени. Один приду. Там издали все видно. Все. Вешаю трубку.

Актриса сидела на кушетке и глядела на него. Лицо у нее было даже не цвета мела, а кокаина — это у него такие мертвенные кристаллические блески.

— Это что же такое? — спросила она тихо.

— Как что? Один очень деловой разговор.

— И вы пойдете?

— Обязательно...

Он подошел к столу, открыл ящик, порылся в бумагах и вынул финку. С год назад с ней на лестнице на него прыгнул кто-то черный. Это было на девятом этаже часов в одиннадцать вечера, и лампочки были вывернуты. Он выломал черному руку, и финка вывалилась. На прощание он еще огрел его два раза по белесой сизо-красной физиономии и мирно сказал: «Уходи, дура». Что-то, а драться его там научили основательно. Финка была самодельная, красивая, с инкрустациями, и он очень ею дорожил. Он сжал ее в кулаке, взмахнул и полюбовался на свою боевую руку. Она, верно, выглядела здорово. Финка была блестящая и кроваво-коралловая.

— Вот этак, мадам, — сказал он.

Актриса стояла и глядела на него почти безумными глазами.

— Да никуда я вас не пущу. Это же самоубийство. При мне... Да нет, нет!.. — крикнула она.

Он поморщился и кинул финку на стол.

— Ну как в моем дурацком сценарии! Слушай сюда, глупая, — сказал он ласково. — Ни беса лысого они со мной не сделают. Клянусь тебе честью! Честью своей и твоей клянусь. Это же трепачи, шпана, пьянь, простые пакостники. Они у нас на Севере пайки воровали, а мы их за это в сортирах топили. Не до смерти, а так, чтоб нахлебались. И поучить их я поучу сегодня.

— Там их придет десяток. Они вам и развернуться не дадут. Там же такие кусты.

— Ну я тоже не слепой. Увижу. А с этой публикой так: дашь одному по морде, свалишь другого, и разбегутся все.

Но смотри, какой ужас на тебя нагнали. Ну как же их не учить после этого, болванов?

Он говорил легко, уверенно, убедительно, и она постепенно успокоилась. Он всегда мог заставить ее поверить во что угодно. Вот и сейчас она взглянула на него, спокойного, неторопливого, собранного — в личной жизни он не был такой, — и почти поверила, что страшного не случится. Просто поговорят по-мужски, и все. Он тоже понял, что она пришла в себя, засмеялся и похлопал ее по плечу.

— Ну-ну. Будь паинькой. Сиди и жди... Потом проводишь меня на вокзал. Поеду на дачу. А то три дня здесь торчу, пью со всякой шоблой, а работа-то лежит. Возьми сумочку, поудрись, вытри глаза, они у тебя сейчас краснее, чем у морского окуня, и ресницы потекли. В зеркало-то посмотришь. Хороша Маша, а?

— А без этого никак нельзя? — спросила она, вынимая сумочку.

— Никак. Ну понимаешь, никак. Они нагледят. А поймут, что я струсил, и действительно шуганут чем-нибудь из-за угла или в подъезде, как того несчастного, подкараулят. А здесь — все открыто!

— Ой! — И она снова вскочила.

— Сиди! Сейчас вернусь. Можешь из кухни поглядеть, там все видно.

— Тогда и я с вами...

— Одолжила. Так что, мы им спектакль собираемся показывать? Юлиана Семенова в четырех сериях? Сиди, и все.

И он снова притиснул ее за плечи к дивану.

Однако после разговора по телефону не прошло и пяти минут. До пустыря же было только два шага — улицу перебежать. Так что же, торчать на виду?

Он снова сел к столу, подперся и задумался. Зазвонил телефон. Он нехотя снял трубку, послушал, оживился и сказал:

— Да, здравствуйте. Ну, узнал, конечно. — Еще что-то послушал и ответил: — Буду там целый день. Пожалуйста. Нет, не рано. Я встаю в шесть. Так жду. — Положил трубку и усмехнулся. — Эта встреча на пустыре — что! Вот завтра редактор ко мне с утра нагрянет...

Она сразу поняла, о ком он говорит, и пособолезновала:

— Вы так его не любите?

Он поморщился.

— Да нет, не то чтобы я не люблю его, но просто...

Она поднялась с дивана, подошла к зеркалу, потом взяла стул и села у стола рядом с ним.

— ...Но просто не любите. — И вдруг пальцем по зеленой бумаге начала старательно выводить что-то продолговатое, закругленное, закрученное, со многими зализками и заходами то туда, то сюда, то вовнутрь, то вне.

— Что это? Змея?

— Почти. Лекало. Линейка для начертания кривых линий. Это он. А вы вот! — И она быстро — раз-раз-раз — вывела овал, на овале две черточки внизу, две черточки сверху и над ними кругляшок, и на кругляшке много-много мелких, торчащих вверх, и в бока, и вниз черточек — голова, патлы, руки и ноги.

Он засмеялся.

— И меня так в детстве учили. Ножка, ручка, огуречик — вот и вышел человечек...

— Да вот, вышел человечек, — улыбнулась она ему прямо в глаза.

— Хм! Значит, вот я какой — ручка, ножка, вихры, — не очень-то, знаешь, лестно.

— Не очень, конечно, но лекало много хуже.

— Хуже? Такое изящное?

— Я его ненавижу. Оно хитрое, вокруг всего изгибается, все обнимает, ко всему подползает. У него нет ничего прямого, а все в изгибах, в перегибах, изломах.

— И много таких ты знаешь?

— Да у нас все такие. Я сама первая такая.

— Славно! А я, значит, вот какой... — Он ткнул в то место, где был незримый рисунок.

— Да, ты вот такой. — Она первый раз сказала ему «ты».

Он подумал и встал.

— Ну, кажется, время. Пойду. Сиди спокойно. Я быстренько.

Но запоздал он здорово. Она уже сидела успокоенная, потому что видела — никто к нему не подходил и на пустырь не заглядывал. Он только зря проторчал полчаса на ящике из-под марокканских апельсинов.

— Суки позорные, трепачи, — сказал он крепко. — Ну, сунетесь ко мне еще! — И стукнул на стол граненый стакан — спасение алкашей. У него их был полный шкаф — кто-то ему сказал, что они приносят в дом удачу. — Вот веноч тебе из одуванчиков сплел, пока сидел. Смотри, как солнышко. Понюхай-ка. А шмелей, шмелей там, все гудит.

Ты на машине? Руки не дрожат? Покажи. Отлично. До вокзала меня подбросишь?

— Да я сегодня могу и до места.

— Нет, до места как раз сегодня не надо. Выходные же. Сейчас всюду посты понатыканы. На поезде скорее.

— А может, останетесь? Завтра бы уж.

— Нельзя. Жена совсем потеряла. Кошки воют. Они меня любят. Поехали!

До последнего дачного поезда еще оставалось добрых полчаса, и народу было немного. Уже совсем стемнело. Горели фонари. Воздух после тяжелого знойного дня был неподвижный и какой-то застойный. Пыльные тополя млели в лиловом фонарном свете. Подошел человек и сел рядом.

— Не знаете, сколько сейчас времени? — спросил он у соседа.

— Да через пять минут подадут состав, — ответил сосед. — Да что, вы меня не узнаете, дорогой? — И сосед назвал его по имени-отчеству.

— Боже мой! — воскликнул он. — Какими же судьбами? Вы что, живете теперь на этой ветке?

— Да нет, не живу, а так, гощу у одного приятеля. Да вы его знаете. — И он назвал фамилию довольно известного очеркиста. — Я его устроил там на даче и вот иногда в выходные приезжаю к нему заночевать. А утром гуляем, купаемся, водку пьем. Хорошо.

— Еще бы! — ответил он с улыбкой, разглядывая своего соседа.

Это был бывший сотрудник какой-то районной газеты, а сейчас председатель областного общества книголюбов. Как-то года два назад он позвонил ему и пригласил выступить на одном вечере. Просто поговорить или прочитав отрывок. Вечер прошел очень успешно. Много аплодировали, срезали и поднесли букет великолепных гвоздик, провожали целой группой и очень просили приезжать еще. С этих пор и завязалось у него с книголюбом не то что приятельство, а хорошее знакомство. Книголюб внешне очень нравился — эдакий крепыш, с круглым лицом, карими, в крапинках глазами и смешным вздернутым носом. Ни дать ни взять — тракторист или бригадир. Книголюб приглашал его часто то туда, то сюда — то с чтением повестей, то с лекцией о каком-нибудь юбилее, а то и просто поговорить о писателях и писательском труде. Был он очень обходителен, прост и всегда хорошо платил, и это писатель ценил тоже. В деньгах

писатель постоянно нуждался. Его мало печатали и никогда не переиздавали. А год назад он закончил свой большой роман, и тот пошел по рукам. Тут и посыпались все его неприятности, начиная с этих звонков и кончая редакционными отказами. Но все это он предвидел и не очень-то огорчался.

— А где вы сейчас ходите? — спросил он книголюб.

Тот назвал ему станцию — не так близкую, но и не больно отдаленную, примерно за полчаса от того места, где жил сейчас писатель.

— Ну, значит, успеем наговориться. Знаете, уже соскучился по вас.

Подошел поезд. Вагоны были почти пустые. Электричество горело вполнакала.

— Ну как с романом, ничего не предвидится?

— Куда там. У меня настоящий мертвый сезон, дорогой!

— Одиннадцать лет, говорят, писали?

— Даже с хвостиком.

— Да! — снова вздохнул книголюб и даже головой покачал. — А сейчас, говорят, неприятности у вас какие-то пошли? Грозит вам какая-то шпана...

— Вот именно шпана. Да нет, ничего серьезного. Так, обычная бодяга.

— Не бойтесь. В случае чего в обиду не дадим. Вот! — И он показал небольшой, но крепкий кулак.

— Да я и не боюсь, — улыбнулся писатель, — но все равно спасибо.

— Слушайте! — вдруг взял его за рукав книголюб. — А вы не сойдете со мной? У нас там еще пол-литра воспитательной стоит, а?

— Соблазнительно! — улыбнулся писатель. — Змий! Зеленый райский змий вы!

— Нет, правда? А завтра утречком и поехали бы к себе. Что ж в такую темень переться-то? Жена ваша небось уж седьмой сон видит. А тут я бы вас познакомил с одним вашим страстным читателем. Он там тоже живет. Молодой парень. Пишет исторический роман. Вот обрадовался бы он! Сойдем, а?

— Очень, очень соблазнительно. Говорите, пол-литра? А что за роман у этого парня?

— Да я, знаете, не читал. Но знаю, что исторический.

— А из нашей истории или зарубежной?

— Зарубежной.

— А страна какая?

— Дания.

— Ого! Он так хорошо знает датскую историю? Это же редкость. А как его фамилия?

— Фамилия! Черт! Вот тоже забыл. Я ведь его все больше по имени — Саша, Саша, ну и фамилию тоже знал, конечно. Черт знает что происходит с памятью.

«Действительно, черт знает что происходит в мире, — подумал писатель, — все что-то сходят с ума. Все потеряли память».

— Так, может, решитесь, сойдем! — снова сказал книголюб. — От станции десять минут ходьбы. Так бы хорошо посидели.

— Так, понимаете, жена, боюсь, сбежит. На черта ей такой муж? Пьет, пропадает черт знает где, куда и с кем. А то я бы с таким удовольствием...

— Прекрасная она у вас женщина, — сказал книголюб прочувствованно, — только вот ко мне что-то не больно хорошо относится.

— Это откуда вы взяли? — очень удивился писатель и подумал, что жена-то и видела книголюбав всего однажды и он ей, верно, сразу не понравился. Вернее, что-то ее в нем насторожило.

— Так она почему-то подумала, что я того... — И он постукал пальцем по скамейке.

Писатель смолчал, потому что и это была правда. Они обсуждали — откуда он, дескать, такой хороший, появился, и именно в это тревожное время, но поделилась она своими сомнениями только с одним знакомым. Его имя назвали вместе книголюб и та женщина, которую он тогда привел с собою. Оказалось, что у них, таким образом, есть общие знакомые. Вот этому общему знакомому и позвонила жена, но ничего конкретного так и не узнала. «Нет, та женщина очень хорошая, — сказал общий знакомый. — Только ведет себя не больно осмотрительно. Знакомства у нее нежелательные. Литературу всякую читает и передает. Язычок длинный. Может быть, за ней и еще что-нибудь более серьезное водится, так что, возможно, он за ней и наблюдает. Хотя тоже навряд ли, а то я бы знал».

Вот и весь разговор. Как же его узнал книголюб? Общий знакомый ни в коем случае проговориться не мог, и вдруг перед ним блеснуло! Ведь говорили-то по телефону. Значит...

Поезд стал замедлять ход. Замелькали предстанционные постройки и кирпичные теремки.

— Ну, я приехал! — сказал книголюб и встал. — Так что, сойдем?

— Нет, поеду к жене! — решительно отрезал писатель. — Что-то стало познабливать.

— Ну тогда, значит, до свиданьица! — развел руками книголюб.

— Всего хорошего, — кивнул головой писатель и подумал: «Нет, я, определенно, болен, лезет же в башку всякая блажь. К психиатру надо бежать!»

Он машинально проследил глазами за книголюбом. Тот шел по перрону и вдруг остановился и помахал рукой кому-то, находившемуся вне поля зрения. И тут писатель увидел, что это совсем не та станция, которую книголюб ему назвал, до той было еще несколько прогонов. «Черт знает что!» И не успел он подумать, как быстрым шагом, почти вбежал книголюб и грохнулся на прежнее место.

— Спутал! — сказал он. — Вот башка! Я, кстати, вспомнил фамилию того писателя. Вирмашев. А книга из времен Гамлета, семнадцатый век.

— То есть это Шекспир написал своего «Гамлета» в семнадцатом веке, а тот жил много раньше, в одиннадцатом веке! Так, по крайней мере, сообщает Саксон Грамматик. Других источников нет, так что, может, и никакого Гамлета вообще не было!

— И все-то вы знаете, — умилился книголюб и вынул блокнот.

— Так Вармишев? — спросил писатель и нарочно переставил буквы. Книголюб кивнул головой. — Говорите, у него пол-литра?

— Да, может, и больше. Там самогонку гнали на свадьбу.

«Э, сойду, — быстро решил писатель, — только так и можно вылечиться, а то и впрямь сойдешь с ума. Да и чего мне бояться? Роман написан, а через неделю мне шестьдесят восемь! Хватит! А парень славный. Это я болван, черт знает что придумываю. Пугаю себя».

— Хорошо, — сказал он. — Сойдем.

— Ну вот и чудненько, — обрадовался книголюб, даже руки потер.

Писатель машинально сунул руку в карман. Но финки там не было. «Ну и черт с ней, — подумал он, — страхом от страха не лечатся, лечатся бесстрашием...»

...Они сошли через две остановки. Это был маленький лесистый полустанок, вернее, даже не полустанок, а платформа. Совсем стемнело. Стояла прохладная, чуть подсве-

ченая одиноким желтым фонарем полутьма. Где-то рядом был, наверно, пруд, потому что тянуло тиной и стоячей водой и всю заливались лягушки. Большие, теплые, спокойные лужи стояли на асфальте и в колдобинах. Крошечные бурые лягушата прыгали вокруг. Писатель наклонился, ласково провел рукой по рослой траве.

— А здесь дождичек шел, — сказал он, вдыхая полной грудью смолистый воздух.

Книголюб нежно подхватил писателя под руку, и тот боком почувствовал его карман. То есть то плоское, гладкое и масляное, что было у него в кармане. «Браунинг, небольшой, наверно, бельгийский», — понял писатель и спросил:

— А что это у вас там?

— Браунинг, — улыбнулся книголюб. — Смотрите! — Он мгновенно выхватил браунинг и навел его на писателя. — Ну, — сказал он и, приставив револьвер к своему виску, чем-то щелкнул. Выскочило высокое, голубое, прозрачное пламя.

Оба засмеялись.

— У одного алкаша за пятерку взял, — сказал книголюб и спрятал зажигалку. — Немецкая работа. Вороненая сталь. При случае можно кое-кого пугнуть. Ну вроде тех, кто вам звонит.

— А ну их! Скоро дойдем?

Они вошли в лес, и сразу еще сильнее запахло смолой и хвоей. Книголюб по-прежнему держал писателя под руку, слегка прижимая его к боку, и тот чувствовал его крепкие, неподвижные, словно вылитые по форме мускулы.

— Да уже почти дошли. А вы что, сильно устали?

— Устал, — вздохнул писатель. — Я очень устал, товарищ дорогой. Последнее время было такое трудное.

— Одиннадцать лет писали... Ну, ничего, сейчас отдохнете от всех ваших трудов, — словно чему-то усмехнулся книголюб.

«Мертвая хватка, — вдруг остро подумалось писателю. — Поршни, а не мускулы. Те, что у локомотивов ходят. От такого не вырвешься. Лес, и в лесу избушка на курьих ножках...»

Книголюб вдруг зажег карманный фонарик. Что ж он его не вынул раньше? Осветилась дверь. Это была, очевидно, избушка лесника. Стояла она на отшибе, и жить в ней мог только очень отважный или хорошо вооруженный человек. Книголюб дотронулся до двери, и она отскочила, как автома-

тическая. Они вошли, и дверь сзади по-волчьему щелкнула сталью.

«Все, — холодея, но даже с каким-то облегчением подумал писатель. — И никто не узнает, где могила моя. Просто сел в поезд и не сошел с него. Растворился в воздухе. Винить некого. Следов нет. Полная аннигиляция».

Отворилась вторая дверь. Два здоровых молодца сидели за столом, покрытым клеенкой, и на полу была тоже клеенка. Белая, скользкая, страшная. Горела лампа в стеклянном зеленом абажуре. «У отца в кабинете стояла такая», — подумал он. Один парень был кругленький, с аккуратно подстриженной головой, румяный, как зимнее яблочко, с загаром. Другой походил на лошадь с белой гривой. Парни молча смотрели на него. Румяный улыбался. Белогривый молчал. Книголюб стоял сзади. Никто ничего не сказал. Просто нечего было уже и говорить.

— Значит, у пустыря на ящичке? — спросил белогривый. — А мы вот тебя куда пригласили, на дачку, с вертерком. — И улыбнулся, показывая плоские, тоже лошадиные зубы. Он был совершенно неподвижен, но как-то страшно, смертно напряжен, и эта его напряженность словно создавала в комнате, обитой белой клеенкой, незримое, но тягостное силовое поле.

«Да, этот, верно, загрызет сразу», — подумал писатель.

— Сейчас ему будет ящичек с крышечкой, — улыбнулся румяный. — Сыграет он в него. Хватит, повредил, поклевал, попил нашей кровушки, падло.

Писатель хотел отскочить, но не мог, хотя ноги стояли совершенно прямо, не двигались, словно в силовом поле. В это время что-то железное и неумолимое сдавило ему шею и раздавило горло. Он даже крикнуть не успел, только подавился кровью. Очевидно, книголюб был выдающийся мастер своего дела. Ослепительный, горячий, багровый свет, целая пелена его еще какие-то доли секунды стояла перед ним, но не в глазах уже, а в мозгу, но тело его, за долгие годы привыкшее ко всему, даже к смерти, было еще живо и отвечало злом на зло. Книголюб переломился от страшного удара ногой в низ живота. Тиски распались. «Ну», — сказала тело, мгновенно отскочив и прижимаясь к стене. Оно было ужасным — в крови, в какой-то липкой гадости, багровое, с глазами, вываливающимися из орбит. Все это произошло в считанные секунды. Румяный вскочил, схватился за карман, но сразу же сел опять. И тогда лошадиный с криком «врешь, гад!» бросился к прижавшемуся к стене,

все еще страшному и готовому к смертной схватке человеку. Он запустил в него плоским пресс-папье, и оно угодило острым углом прямо в висок. Тело рухнуло на колени. Но когда лошадиный подлетел, чтобы ударить еще, оно, тело, схватило его за ногу и подсекло. Они покатались по полу. Лошадиный сразу оказался внизу. И тогда румяный подошел и четким, хорошо рассчитанным движением ударил находящегося сверху ланцетом. Удар точно пришелся в ямочку на затылке. Руки разжались. Комок распался. Румяный ударил еще в то же место. Лошадиный встал. С него текло. Он весь зашелся в кашле. А румяный наклонился и профессионально — при повороте у него вдруг сверкнул багрянцем медицинский значок — пощупал пульс, потом заглянул в быстро потухающие глаза.

— Все, — определил он.

— Ну спасибо, молотки, — просипел книголюб, разгибаясь и переводя дыхание, — только отойдите, отойдите! Видите, тут все заляпано! Эх, черт! Вот что значит не подготавливаться. Ведь свободно убить мог, гад! Сейчас машина подойдет. Она рядом с нами ехала. Я ей вышел просигналил.

Лошадиный стоял и смотрел. Ему здорово попало. Дышал он с каким-то свистом и всхлипом.

— Ух! — сказал книголюб с ненавистью и врезал носком ботинка по виску трупа. — Ух, гад! — Он ударил еще и еще, но голова только мягко перекатилась по клеенке.

Лошадиный стоял, рот у него был полуоткрыт, зубы блестели.

— Здоровый! — сказал он. — Вот уж никогда не думал, что он с вами поедет. «Приходи, мужик». — Не поймешь, что особенное прозвучало в его голосе и в этих словах. Но оно точно прозвучало. Поэтому книголюб поглядел на него.

— А ты сядь, сядь, а то весь дрожишь, — сказал он. — Куда он тебя ткнул-то? Эх, стрелять тут нельзя.

— Со мной по телефону говорил, ругался, мужиком назвал. Эта к нему прибежала, уговаривала, плакала, я все слышал, — нет, пошел. Букет ей еще нарвал, одуванчиков. Разве такого уговоришь?

— Да что ты, жалеешь его, что ли? — рассердился книголюб. — Мало он тебе съездил. Ну-ка выпей воды.

Белоголового трясло, лицо его сразу промокло, и не оттого, что плакал, а оттого, что его всего начало выворачивать.

— Давай, валяй прямо на него! — насмешливо крикнул книголюб. — Вот нашелся мне тоже иждивенец. Если плакать по любому гаду...

Прогудела сирена.

— Иду, иду, — сказал книголюб и вышел.

— Вот кого бы я сделал, — сказал беловолосый, — сразу бы...

— А он-то при чем? — удивился румяный с медицинским значком. — Ему приказали, а он нам приказал. Вот и все.

Беловолосый сел на стол, открыл ящик, вынул бутылку, скусил металлическую пробку, налил полный стакан и выхлестнул сразу. Потом посидел, скрипнул зубами и вдруг ухнул ногой по тумбочке стола. Стол загудел и задрезжал — он был фанерный, тут все было ненастоящее: фанерное, клеенчатое, кроме запоров — вот те, верно, были стальные и автоматические.

— Прямо сгрыз бы, — сказал лошадиный. — Слышал я этот приказ. Когда я ему прорадировал, что этот выходит ко мне, он сказал: «Э, нет, так не годится. Иди и в дежурке жди. Раз он не боится, надо не предупреждать и дело делать».

— Ну и что? И правильно, — сказал румяный. — Вот и сделали.

— А потом через сколько-то радирует мне: «Поезжай в лесную сторожку. Ты не требуешься. На дачу поехал».

— Он и на дачу трех послал с машиной. Ему бы так и так был конец, — сказал румяный, — так что не переживай.

— И эта кукла удержать его не могла. Еще подвезла, чувиха безголовая.

— Тише! Они идут. Кончай выступать.

* * *

— Так Вармишев, — спросил писатель и нарочно переставил буквы, — и говорите, у него пол-литра?

— Даже больше, наверно. Там самогон гнали. Так, может, сойдем?

— Да нет, — улыбнулся писатель. — Уж, похоже, буду добираться до дома, до хаты. — Но вдруг, когда книголюб был уже в тамбуре, крикнул: — Секундочку! Встречное предложение. Поедем ко мне. Ну и что, что спят? В холле посидим. У меня там заначка хорошая есть. Ради Бога, только не отказывайтесь! А то я совсем стал с ума сходить. Вот сижу с вами и наяву брежу.

И тогда книголюб послушно возвратился, опустил на свое место.

— С вами куда угодно.

А он, старый человек, инженер душ человеческих, как некогда выразился некто, тоскливо, с глубоким неуважением

к себе подумал: «Какие же мы все-таки трусливые твари! Позвони нам так еще парочку раз, и мы от всех будем бегать. Те гады хорошо знают, что делают. Вот я расхрабрился, пошел к ним, вернулся гордый, ничего, мол, не боюсь, а потом всю дорогу издыхал от страха». Ему было так нехорошо, что он даже не знал, что сказать и что сделать. Ведь перед ним сейчас сидел обыкновенный простецкий парень, который искренне любил его, а он даже любовь стал считать за фальшь и подсидку. Так стоял ли он тогда когда-нибудь настоящей любви? Он думал об этом, пока они ехали, а потом шли, и поэтому все время болтал что-то мелкое, несурзное, только чтоб заглушить в себе этот стыд. Да нет, ему даже уже не было стыдно, он просто весь болел и пылал, как открытая воспаленная рана. Боталы! Дешевки! Грошовое повидло, как говорили на Севере. Ничего не прямо, все в обход. Ничего на руку, все в себя! Изогнулись, как гадюки в болоте, перегрызлись, как собаки в клетке у гицеля. Ручка, ножка, огуречик... Да если бы было хоть так, а то ведь ничего подобного.

— Лекало, — сказал он вдруг громко и остановился, — чертово лекало.

— Ну за что вы его так? — огорчился книголюб. — Я сам был чертежником, там без лекала никак не обойдешься.

— Да, но я же не чертеж! — крикнул он в отчаянии. — Я же как-никак человек. Я же ручка, ножка, огуречик! А не какое-то лекало.

Кто-то из темноты засмеялся, а женский голос объяснил:

— А на этих электричках всегда только вот такие из Москвы возвращаются. Нажрутся там...

Прошли еще с полквартила, и тут книголюб сказал:

— Ну, кажется, дошли. Вон вывеска «Дом творчества». До свидания. А я, извините... — Он побежал обратно. — А то и не уеду. А мне обязательно нужно быть там. Сегодня же.

— Так вы не зайдете? — разочарованно вслед ему крикнул писатель.

— Извините. Не могу! В другой раз! Я вас только до дому провожал. Вижу, что вы как-то не вполне в себе. У меня уже ни минуты не осталось. Пока!

— А пол-литра что же?

— Так я же непьющий, — засмеялся книголюб. — Что, забыли разве? Да?

Да, да, он все, все забыл.

В Секретариат Союза писателей
от члена Союза Ю. О. Домбровского
(членский билет 0275)
Москва, К-92, Б. Сухаревский, д. 15, кв. 30.
Б-3-40-47

Докладная записка

Начну с самого конца: 10 мая меня вновь повесткой вызвали в тот самый нарсуд на улице Чехова, где за месяц до этого я получил десять суток ареста за мелкое хулиганство. Перед тем, как пойти туда, я зашел в Союз и попросил, чтобы мне дали юрисконсульта. Юрисконсульта мне дали, она была со мной, была в суде, была во время разговора с нарсудьей Кочетовой, была, когда я наконец-то первый раз (тогда, перед судом и осуждением, мне этой возможности не дали) ознакомился со своим делом.

Разговор с нарсудьей Кочетовой оказался очень странным.

Судья Кочетова (*читая больничную справку о моем состоянии*). И вы, такой больной человек, полезли в эту историю. Как же вы могли?

Я. Гражданин народный судья, все это я заработал у вас и из-за вас. Все четыре болезни. А насчет дела разрешите мне в конце концов разъяснить, что же было...

Кочетова (*перебивает*). Я ничего не хочу слушать. Решение уже вынесено.

Я. А если решение это неправильное, неправомерное, не отвечающее существу дела, если оно какое хотите, но только не справедливое, тогда что?.. Я спас женщину от ножа! Ее резали, ей рвали рот, понимаете вы это?!

Кочетова. Решение уже вынесено.

Я. У нее был разорван рот, понимаете? Пальцем! Я видел, как это делается, и на Колыме, и в Тайшете, в карцерах. А на губе у нее был порез — полоснули ножом.

Кочетова. Приговор вынесен.

Я. Комната была залита кровью, и в крови валялся финский нож.

Кочетова (*радостно — наконец-то она поймала меня на противоречии*). То вы говорили, что брали ее в домработницы, то, что...

Я. А разве это одно другому мешает? Если женщину один берет в домработницы, то другой ее может резать? Я заявил об этом милиционеру, я сказал — пойдите вниз, там засела шайка картежников, там вся комната в крови, там...

Кочетова (*кончает разговор*). Приговор уже вынесен. Я ничего сейчас не могу сделать. (*Я жму плечами — что говорить дальше?*) Но так как вы больны, то я заменю арест штрафом. Это единственное, что в моих возможностях. Вы согласны?

После этого мы знакомимся с делом. Моему адвокату его дают на просмотр. Сидим рядом и читаем. Оно уже пухлое, законченное, обросшее постановлениями, запросами, ответами, аккуратно подшитое. Начинаем читать с конца, с того, что мы в некий период именовали «доносы», о чем мне еще придется много говорить. Аккуратнейший чертежный почерк, буква к буквке. Писал ответственный съемщик. Внизу тем же полупечатным почерком выведены фамилии жильцов. Он — она, он — она, он — она; пропуск: вот здесь надо расписываться. О, как я знаю эти старательно выведенные, стандартные буквы, этот стиль — патристический, велеречивый, подлый и неграмотный; сколько я видел таких бумаг в своих делах, в делах моих товарищей, они откуда-то выплывали в период реабилитации. Творчество этого человека я знаю особенно хорошо. Еще бы! Это его четвертый донос, который я читаю. И в тех были те же тщательно вырисованные фамилии с местом для росчерка, те же туманные, но очень страшные формулы: «Разлагает...», «нарушает моральный кодекс...», «антиморально...», «антиобщественно».

Все это я, повторяю, читаю уже четвертый раз.

Первый раз, когда писалось про первого мужа жилицы справа.

Второй — когда он писал о муже жилицы слева.

Третий раз — когда просили дать возможность сыну жилицы справа после отбытия наказания прописаться по прежнему месту жительства. Это было доброе дело. Но есть люди, которые, как бы им этого ни хотелось, добра сделать не могут. Не дано оно им. Мне кажется, что и автор всех этих трех бумаг такой же. Общий смысл этого заявления был такой: мы, жильцы квартиры 30, просим помиловать Юрия Касаткина; отец Юрия — пьяница и распутник, он бросил жену, заведовал столовой и пьянствовал сутками. На нем уже висит несколько партийных взысканий (на Касаткине ничего не висит, он партиец почти с сорокалетним стажем). Так что же ждать хорошего от сына подобного разложенца? Яблочко от яблони ведь недалеко падает. Помилуйте сына!

Но этот потешный документ был хотя бы лишен того, чем два предыдущих и четвертый (заявление на меня) оканчивались, — «просим изолировать».

В этом слове «изолировать» и был смысл всех трех документов. Еще тогда, на заре наших отношений, читая первый из них, я подумал: да сколько же подобных просьб было написано и подано этой рукой в предыдущие года: года 37-й и 39-й? Года 40-й и 53-й? И какая часть из них была уважена — двадцать пять процентов, пятьдесят, сто? Конечно, тогда действовали в одиночку в темноте, на соседа не собирались подписи, не выводились чертежным почерком фамилии, не оставлялись места для росчерка. Но и те три документа не состоялись просто потому, что тот первый, к которому «автор» обратился за подписью, достаточно ясно высказал ему это.

Но все это, так сказать, заметки на полях, вопрос, на который не может быть ответа. Он просто невольно приходит в голову, когда читаешь вот такую бумагу. И, конечно, она была заготовлена впрок давно. Но дана жильцам только после моего ареста: он — она; он — она.

Таков первый документ, который мы просматриваем. Второй документ — мое объяснение; третий документ — тоже мое объяснение. О них я буду говорить дальше. Затем заявление двух соседок. Краткий, но исчерпывающий смысл его таков:

«Домбровский в нетрезвом состоянии привел к себе в комнату неизвестную нетрезвую женщину. Он хотел ее оставить одну в комнате и уйти. Когда мы стали протестовать, он обругал нас нецензурно, сказал, что он писатель и что ему все дозволено. Поэтому — мы просим...»

Последнее — постановление милиции на форменном, так сказать, фирменном бланке. Это бланк о применении закона от 19 декабря 1956 года.

Заключение: «Зам. нач. отд. Доставить дело в суд вместе с личностью Домбровского». И, наконец, бланк и в нем — «10 суток».

Адвокат закрывает дело.

«Писать, конечно, можно, — говорит она, — но, по-моему, Юрий Осипович, у вас вряд ли что выйдет».

Что ж, может быть, и верно, вряд ли что выйдет. Но писать я обязан.

* * *

Женщину, которую я привел к себе в комнату, жильцы нашего дома знают уже лет двадцать. Едва я лет восемь тому назад приехал в этот дом и поселился в этой квартире (откуда чуть не буквально сбежал мой предшественник — поэт Сидоренко), как мне рассказали: в нашем подвале притон, там живет преступная женщина. Она вечно пьяна. У нее двое детей. Было четверо, но двоих из них она не то подбросила, не то придушила. В общем, пропали дети. В подвале пьют, скандалят, убивают. На пожарной лестнице недавно повесился какой-то мужчина. Ее рук дело! И не повесился он, а его повесили. В общем, не баба, а черт. Так мне рассказали соседи. В своей жизни чертей я видел уже предостаточно; мест, «где вечно пляшут и поют», — тоже. Поэтому даже интереса эта «соблазнительница» и ее притон у меня не вызвали. Познакомился с ней лет через пять и совершенно случайно: около нашего парадного постоянно играли две девочки, и каждый раз, проходя, я давал им то гривенник, то конфетку, то печенье, то иллюстрированный журнал, то детскую книгу с картинками. Ведь они с такой радостью бежали мне навстречу и кричали: «Здравствуйте, дядя Юра!» Конечно, не всем детям можно что-то давать на улице, не каждой бы матери, верно, это понравилось бы. Но этим детям нужно было все: и печенье, и гривенник, и книжечка Пушкина, и даже просто ласковое слово, когда у меня не было с собой ничего. Я понял это сразу. Сколько лет было этим девочкам? Ну, наверно, пять одной и четыре другой. Когда им исполнилось лет десять, я как-то узнал (мы почему-то никогда с ними о жизни не разговаривали), что они и есть дети той страшной женщины, которую боятся жильцы и избегают «порядочные». Узнал

я и ее фамилию — Валентина Арутюнян. А потом она меня вдруг сама остановила на улице.

Я увидел немолодую низенькую женщину, хромую, плохо одетую, истощенную и бледную (помните «Прачек» Архипова? Ту фигуру на переднем плане?), которой иногда даже и по улице пройти трудно, так она хромает. Это было так разительно, что я уже заинтересовался по-настоящему, и отсюда началось мое грехопадение: я спустился в подвал к «неприкасаемым».

То был поистине страшный подвал. Страшный не своей нищетой и ветхостью, а каменным холодом. Все текло и сочилось. Не было даже отопления. Как можно жить зимой здесь — я так не понимаю и до сих пор. Я не хочу ни осуждать, ни оправдывать эту женщину, но все страшное оказалось ложью: и убитые дети, и повешенный, и разбой, и даже, как ни странно, притон. Пьют здесь не больше, чем везде в подвалах, то есть все-таки порядочно. Заходят сюда тоже многие, либо товарищи ее сожителя (или мужа, как хотите, я что-то вконец запутался в этих различиях), либо подруги самой Валентины Арутюнян (подруг у нее достаточно), либо друзья и подруги ее соседа. Когда-то Арутюнян жила в хорошей благоустроенной квартире, у нее был отец, работник ответственный и даже страшный (так называемые «старые чекисты», наверное, помнят и сейчас Никанорова Ивана Николаевича), была хорошая обстановка и хорошая жизнь. Одна вещь в этой низенькой, постоянно темной комнате (срезали даже электричество!) напоминает мне об этой поре: это то ли шкаф, то ли сервант — старинный, дубовый, дорогой, с двумя медалями на обеих створках (по-моему, Франциск II и Мария Стюарт). По словам Арутюнян (и это подтвердила старуха, которой лет 80 и которая присутствовала при ее рождении), они въехали в квартиру Дзержинского, и отец хорошо знал Суслова. «Я постоянно сидела у него на коленях». Так это или не так — опять не знаю. Но твердо я усвоил одно: вот была благополучная счастливая жизнь самой обыкновенной девушки, не особенно хорошей и не особенно плохой, а потом посыпались несчастье за несчастьем: смерть отца, война, смерть мужа, лагерь, первый ребенок (выпустили, но мать не захотела прописать ее в своей квартире после отбытия наказания) и затем вот этот подвал и мужья... один, второй, третий.

Я не судья, не следователь, не милицейский работник, не социолог, а в данном случае я даже и не писатель. Я

только жилец третьего этажа, который однажды счел себя вправе спуститься в подвал. Все это и было оскорблением всей квартиры № 30. Несмываемым!

Квартира в подвале имеет две комнаты, одна комната была на замке. Потом мне как-то раз удалось заглянуть туда. Уверяю вас, в то время это была еще настоящая квартира среднего служащего — стоял шифоньер, был дешевенький фарфор, тахта, ковер, еще что-то такое. Так вот, когда я зашел впервые, эта комната была замкнута, в нее Арутюньян не пускали. В ней числился какой-то директор магазина. Но легально (днем то есть) он спускался сюда раза два в год. А потом вдруг замок исчез и комната опустела. Владелец сбежал, фарфор исчез, ковер содрали — пришла жена и все унесла. Но бежать-то директор сбежал, а друзья-то его (ночные) остались. У таких людей друзей сколько угодно — друзей на выпивку, на девочку, на преферанс, на развеселую ночку — всего этого я не застал и никогда не видел. Но вот с друзьями этого исчезнувшего жильца мне вдруг пришлось столкнуться, и очень больно. Вот так это вышло.

Из Пятигорска ко мне приехал мой знакомый, мы были с ним у Арутюньян — для разговора, к сожалению, с некоторых пор моя квартира малоудобна (но об этом после). На второй день нашей встречи мы шли по улице, и меня позвала девочка: «Дядя Юра, вас мама зовет». О том, что мы увидели, следовало бы, по всей вероятности, писать словами милицейского протокола. Мой слог с этим не справится.

«Комната оказалась залитой кровью. На кровати лежала женщина, зажимая лицо платком, платок был в крови. Лицо женщины было разбито. При входе нашем в комнату она вскочила с кровати и истерически крикнула: «В той комнате играют в карты — меня убивают, спрячь меня, пожалуйста!» Так я написал бы, если был бы милиционером. А теперь вот от себя.

Я увел женщину к себе в квартиру. По дороге она мне объяснила, что ее избили друзья бывшего жильца. Сказала, что жилец где-то скрывается, а друзья его ходят и требуют комнату на ночь, стол, чтобы резаться в карты, постель для девочек, а главное, чтобы не было посторонних — и детей вон, вон, вон! — так она мне рассказала.

Верно, Арутюньян выполняла эти требования очень долго. Но вот в этот день она почему-то отказалась. Опять-таки почему — не знаю. И благородных мотивов у ней предпо-

лагать я не вправе. Но разбушевавшаяся кодла (выражаясь по-лагерному, но иначе и не скажешь), решила ее проучить по тому же самому тюремному шакальему кодексу. «Ах, непустишь, стерва!..» Били ногами на кровати, свалили на пол и били там, саданули стамеской, резанули ножом. В общем, когда я и товарищ привели Арутюньян ко мне, кровь капала с нее, как из треснутой банки вишневое варенье. Сознаюсь, в первую минуту я просто растерялся, мы стояли с товарищем и смотрели, как женщина лежит на диване и хлюпает, а кровь у нее пузырится из носа. Потом я сказал товарищу: «Ну вот что! Ты побудь с ней, а я сбегаю за угол за скобками в аптеку». (Что-что, а сшивать такие раны я умею — Кольма научила.) Но когда я отворил дверь в коридор, то увидел перед своей комнатой мяукающую и орущую массу женщин. Собрались все, кто был: портниха, жена шофера, дочка жены шофера. Я привел в их квартиру женщину из подвала. Неприкасаемую! Зачем? Как я смел?

— Но ее же убьют, — сказал я.

— Ну и пусть убивают, — ответили мне, — туда ей и дорога.

— Но я так не думаю, — сказал я.

— Ах, не думаешь, — завизжала женщина.

И тогда пришла милиция.

Я ко многому привык и многое узнал за восемь лет, живя здесь. Я узнал, что такое коммунальная квартира, я отлично теперь знаю, что значит, в понимании моих соседей, «мой дом — моя крепость». Стоит только посмотреть на запоры этой крепости, ее крючки, крюки, замки, перевернутые так и эдак, запертые просто и поставленные на ребро, так, чтобы их нельзя было открыть после десяти часов ни одним ключом (воров такие замки не остановят). Привык я и к крикам о том, что в квартиру (ко мне то есть) приходят неизвестные, а кто их знает, что за люди, что у меня, кроме книг и картин, воровать нечего (какому дураку нужны книги и картины, да еще старые?). А у них и новые платья, и горка хрусталя, и три чайных сервиза, и два сервиза обеденных. Так что реакция квартиры, вопли ее у дверей (а иначе, чем воплями, их не назовешь) и даже самый приход милиции меня не удивили. Раз нажато «02», издан вопль SOS — милиция обязана садиться и мчаться.

Удивило и потрясло меня совершенно другое. Когда пришли милиционеры и увидели в комнате двух совершенно трезвых растерянных мужчин и хлюпающую, как говорят,

кровью умывающуюся женщину, то они не заинтересовались ни избитой и порезанной, ни тем, кто ее резал, бил и истязал, ни заявлением ее о том, что в подвале режутся в карты и на полу валяется финский нож, а совсем другим: жилец привел неизвестную, а сам собирается куда-то уходить. Объяснить я ничего не мог — не слушали.

Разговор милиция начала в таком тоне:

— Что? Бьют? Да тебя давно убить надо.

— Убивают? Ну что ж? Похороним!

— В карты играют? Ладно, ладно, сама приваживала, а теперь плачешь.

— Финский нож? Да на тебя и топора мало.

В таком тоне и велся весь разговор. Тон благодушных подвыпивших парней, «заводящих» пьяного; разговор санитаря с сумасшедшим о его миллионах. Ох, эта непробиваемая броня служителей порядка. Эта смешливость, которая вдруг нападает на работников милиции, когда их просят о помощи. Сколько я ее видел и слышал! Сунуться опасно, говорить не о чем, вот начинают смеяться. А потом еще эпатация: обалделый обыватель отваливается сразу. Он уже ничего понять не может. Напишу только о последнем случае из ряда очень-очень многих, которые мне пришлось наблюдать.

Раз на нас — а нас было четверо, из них две женщины — набросились двое развеселых парней с гитарой и ножами. Это было не на окраине, а напротив бразильского посольства, то есть у самых-пресамых дверей Дома литераторов. Было, повторяю, нас четверо — жена поэта Наровчатова, редактор и парторг Гослитиздата, художник-декоратор и я. Я с Галиной Наровчатовой шел впереди, поэтому, как и из-за чего возникло столкновение, я так и не знаю — то ли пьяный толкнул кого-нибудь из нас, а тот огрызнулся, то ли вид был у женщин не тот (шляпки, блузки), то ли фамилия у редактора — Коган, в общем, повторяю, я этого так и не узнал. Но просто-напросто один из парней взял Когана за грудки, да и трахнул его о решетку. Когда я бросился на помощь, оба парня с радостью переключились на меня. Тут был весь уголовный антураж, не воров, а тех, кого в лагере зовут «съявками», — руки в карман, кулак к носу и двое вооруженных против двоих безоружных. Женщин попросту отбросили. Я справился со всем один: и с матом, и с ножом, и с пальцами рогаткой в глаза: «Ты что, падло, в лоб захотел?» — и еще кое с чем. В течение трех минут мы стояли друг перед другом, матерились и орали на весь квартал. Но в эти три минуты — великое

время для жизни и смерти человека! — Галина Наровчатова успела добежать до милиционера и стала звать его на помощь. И угадайте, что ей сказал милиционер? «Знаешь что?.. Сама с ними пила, а теперь их сдать хочешь?! А ну, иди отсюда!» За точность слов, конечно, поручиться не могу, но смысл передаю совершенно точно. А я ведь знаю, что для того, чтобы превратить человека в черепаху, достаточно десяти секунд; чтобы зарезать и пырнуть под сердце или в горло — и трех секунд, пожалуй, много, а чтобы добежать и оказать помощь — и минуты хватит. А у милиционера три минуты ушло на то, чтобы поглумиться над испуганной и совершенно трезвой женщиной. Просто он ржанул, повернулся и пошел в сторону, противоположную опасности.

Я уже подал в Секретариат эту докладную, когда прочел в «Литературной России» что-то совершенно подобное. Вбегает к ответственному секретарю газеты сотрудник: «Любопытное происшествие! Интереснейший факт! Понимаешь, один участковый милиционер шел вместе с дружинниками по улице. Вдруг шум скандала. Дружинники ринулись на шум, а милиционер рванул... в противоположную сторону. «Да ну, — говорит, — из-за пустяков мне еще нервы беречь...» За этим случаем наши коллеги просмотрели целую систему ошибок местной, да и не только местной милиции». Просмотрели, ох, как они все просмотрели! (№ 29 от 15 июля 1966 г.)

Так было и в этом случае. Передаю опять почти протокольно.

Я. Убивают же!

Старший уполномоченный. Ну и пусть — плакать не будем, у нас с ней столько хлопот.

Женщина (*визгливо*). Он ее все время таскает в нашу квартиру. То супом накормит, то детей ее притащит конфетами оделять, а сколько вещей он ей передавал. Режут, да все не зарежут, небось свой законный муж режет, это — дело семейное.

Другой милиционер. У ней столько мужей, так если за каждым бегать...

Общий вопль. И пусть убивают, и пусть убивают.

Оперуполномоченный (*нравоучительно*). А вы вот скандалите, а еще писатель.

Я. Товарищ начальник, да что вы слушаете этих шкур, да разберитесь, что здесь происходит. Это же шкуры, понимаете, шкуры.

Старший. Стоп! Это почему вы так выражаетесь?

Я. Потому что, кроме своей шкуры, их ничего не интересует: режут — пусть зарежут, убивают — пусть добьют. А подвал и третий этаж не встречаются.

Старший (*обращаясь к жилище*). Он вас назвал шкурой, мы это слышали. Пишите заявление! Вот я вам скажу, с чего надо начать: «Проживающий в нашей квартире гр. Домбровский в нетрезвом виде...»

Я. Это я-то нетрезвый?

Старший. Молчи, пока не спросят! «...В нетрезвом виде привел неизвестную...»

Я. Да какая же она неизвестная, когда...

Неизвестная. Товарищ милиционер, я в этом доме двадцать лет живу. Меня все знают, и они знают, и вы знаете.

Милиционер. Молчи, Арутюнян, я не с тобой... «...в нетрезвом виде привел неизвестную женщину и хотел уходить».

Я. Я шел в аптеку за скобками.

Старший. Молчи, Домбровский, до тебя еще не дошло. Так вот, значит, нетрезвый привел неизвестную. Хотел уйти неизвестно куда, оставить неизвестную одну.

Мой товарищ Саркисов (*он до сих пор стоял и молчал*). То есть позвольте, а я? Меня вы что же, за человека не считаете? Он мне специально сказал: побудь с ней.

Старший. Что он вам сказал — нам неизвестно, и кто вы такой — нам тоже неизвестно.

Саркисов. Так вот мои документы.

Старший. Мы у вас их требовать не имеем права. Вы тоже неизвестный. И вообще уходите. Вы здесь ни при чем. Так, значит, ясно, товарищи жильцы, оставил неизвестную, уходил неизвестно куда и зачем, а когда вы стали возражать, обозвал вас нецензурно. Нетрезвый.

Второй милиционер (*подсказывает*). И милицию тоже.

Старший. Да, да, и милицию, конечно, тоже. Вот так! Чтoб через полчаса бумага была. Пошли, Домбровский. Пошли, пошли, Арутюнян. А вы, товарищ, куда? Нам вы не нужны (*это уже на улице*).

Я. Но он мне нужен, он же свидетель.

Старший. Свидетелей вам не полагается. А ты, Арутюнян, убирайся, убирайся. И если я тебя еще увижу здесь...

Я. Но загляните хотя бы на минуту в подвал, там ведь весь пол в крови.

Старший. Ты, Домбровский, задержанный и не учи милицию. А ты, Арутюнян, поворачивайся быстрее, если не

хочешь неприятностей. Знаешь, что бывает за сопротивление властям? Да и вы бы, товарищ, тоже шли.

Но товарищ пошел со мной в милицию.

Милиция, 18-е отделение. Последний переулок. Начальник — тов. Смирнов. Мне пришлось ждать его порядком, без него, оказывается, никто ни в чем разобраться не может. Много народу. То, что я заступился за Валентину Арутюнян, вызывает неудержимое веселье у окружающих. В словах и выражениях здесь не стесняются. Смешон сам факт: резали? Кого? Резали? За что? Резали? Который раз? Само слово «резали» — один из самых страшных глаголов в мире — здесь, кроме смеха, ничего не вызывает. Приходит и наш участковый Богданов. И меня, и Арутюнян, и мое отношение к семье Арутюнян он знает и понимает сразу все, что здесь происходит. Вся улица его уважает. Это серьезный, молчаливый, строгий, справедливый человек. Но как сказать что-то свое, противоречащее общему мнению? И вот он тоже говорит о лишении Арутюнян прав материнства и о том, что совсем тебе, Домбровский, не нужно бы туда ходить. Ты же писатель, и лет тебе много. Богданов — человек изумительной хладнокровной храбрости и выдержки. О нем писали в газете. Но тут храбростью не возьмешь. Он понимает это и уходит. Мне предлагают написать объяснение. Я сажусь и пишу. Почерк у меня и вообще, скромно сказать, очень неважный (пальцы отморожены на Колыме). А тут еще и волнуюсь, и с точки зрения канцелярской мои каракули действительно стоят немногого. Кроме того, и сам я весь дрожу и с трудом справляюсь с дурнотой. Она напала на меня еще в подвале.

Дежурный берет мои объяснения, смотрит и говорит с удовлетворением:

— Вот, а еще утверждаете, что не пьяный. Ты посмотри-ка, что он накорябал...

Отвечаю — уж такой у меня почерк.

Кто-то, кто меня знает, подтверждает: да он всегда пишет так.

— А еще писатель (*прячет бумагу*). Напишите вторично. Значит, хочет поймать на противоречиях.

Пишу вторично. Получается почти то же самое. Рука дрожит все больше и больше. Но стараюсь изложить все ясно и четко. Женщина была изранена, в крови. На полу, когда я вошел, валялся финский нож. Мы привели женщину ко мне в комнату. Я оставил ее с товарищем и пошел за

скобками. Здесь на меня и накинута эта мяукающая, вопящая прорва. (Конечно, я слова «прорва» не пишу.) Ни оскорблений, ни ругани не было. И нетрезвым я тоже не был. Подаю объяснение и говорю: «Теперь просьба — подвергните меня медицинской экспертизе. Пусть будет акт об опьянении».

Саркисов. И у меня просьба: я был при всем этом и полностью все подтверждаю. Я сам видел: кровь, израненную женщину, как Домбровский был взволнован, как он хотел бежать в аптеку. Снимите, пожалуйста, с меня показания.

Дежурный. Обойдемся и без ваших показаний. И акта не будет. Вот придет начальник...

Но начальника все нет. И только одного мне удастся добиться: на одном из моих объяснений товарищ ставит и свою подпись. А на другом пишет: «Полностью подтверждаю», — и подписывает свой точный адрес.

В эту минуту приходит начальник.

Я и вправду и до сих пор считаю его порядочным человеком и хорошим работником: скромный, тихий, спокойный капитан в милицейской форме. У него мягкие манеры и усталое лицо. Дело его не особенно заинтересовало. Арутюнян он знает хорошо. А меня вспоминает по другому случаю и говорит: «А ведь Тарасов тогда о вас замечательно отозвался». О Тарасове разговор еще впереди. И поэтому я привожу только слова капитана. Затем капитан читает мое объяснение.

— А где Саркисов? — спрашивает он, оглядываясь.

Я говорю, что он только что ушел, ему предложили подождать на улице.

— Пойду поговорю с ним (*качает головой*). Да, эта самая Арутюнян... Беда!

Уходит. Возвращается минут через десять, вздыхает.

— Ну что ж, идите домой, товарищ Домбровский. Вот только мне надо будет вас завтра увидеть. Подпишитесь, пожалуйста, на этой повестке.

Подписываюсь.

Уходим.

Конец вечера проводим в Доме литераторов. Там я давно не был и попадаю в торжественный момент. У Юрия Полухина родился сын. Выпиваем за его здоровье. Рассказываю товарищам о том, в какую идиотскую историю я чуть не попал: защитил женщину и мог бы оказаться мелким хулиганом. Ее же прогнали обратно к тем, кто ее избивал:

в общем, иди, и пусть тебя добьют. На меня составили протокол. Хорошо, что попался умный начальник.

— Слушай, Юрий, да уезжай ты оттуда, — говорит мне Полухин. — Я твоих жильцов вот как знаю. От них без оглядки бежать надо! Что, неплохие люди? Пусть неплохие, но жить они дадут только себе, а не тебе. Дверь запирай в десять часов. После десяти не приходи! Гостей не води! Все женщины у тебя — проститутки. Все мужчины — пьяницы. Порядочные люди ходят только к ним. Уезжай ты за ради Бога. Неужели это так сложно?

Домой пришел в полночь. В подвал я не заглянул. Начальник мне сказал, что пошлет туда людей. Я приду утром, и тогда мы поговорим обо всем.

Наступает утро.

Поднимаюсь рано, как говорят, чуть заря. Трамваи еще не ходят. Надо очень много еще сделать до вечера; вечером из Пятигорска ко мне приезжает друг. Мы не виделись с ним уже года три. То он в командировке, то я в отъезде, то еще что-нибудь такое. И вот я прибираю комнату, выкладываю на стул чистое постельное белье, покрываю его газетой. Друг будет жить тут у меня, других адресов у него нет; накануне мы обо всем договорились по телефону. А днем нужно писать, писать. АПН заказало большую статью для Америки. Хоть умри, но сдай вовремя. Статья историческая и требует раскопок. Вот сижу, читаю и выписываю.

В десять часов приходит Саркисов. Я встречаю его с ручкой в руках.

— Ну что, старик, ты готов? Пойдем, — говорит он. — Просили пораньше.

Заходим в милицию. Поднимаемся наверх. Кабинет начальника заперт. Где же он? Никто не знает. «Справьтесь в дежурной части», — советует уборщица.

Спускаемся в подвал. За барьером сидит дежурный и что-то пишет. На скамейках, позевывая, переговариваясь, сидят несколько милиционеров. Видно, что смена только что кончилась. Спрашиваю о начальнике. Он поднимает на меня глаза: «А что?» Я говорю, что, и сразу все меняется: смех и гогот — все то, что я уже слышал вчера. Произошло что-то очень смешное. Рыжий, что ли, в парике ввалился в дежурку, пьяного ли за руки и за ноги притащили и бросили:

— Пришел? Пришел! Ну теперь садись жди — скоро поедем!

— Да мне ждать-то долго нельзя, — объясняю я. — Мне еще в Ленинскую надо. Если начальник занят, так я, может быть, потом зайду.

Опять смеются. Дежурный говорит:

— Да нет, зачем позже? Позже ты уж не зайдешь... Позже мы тебя сами в хорошее место свезем. На машине! Видишь, какой почет тебе, Домбровский!

И опять что-то пишет.

Я смотрю на товарища. Произошло что-то не то и, кажется, что-то очень плохое.

И Саркисов тоже смотрит на меня.

— Ты хотел утром звонить своему секретарю, — говорит он. — Звонил?

Я машу рукой. Секретарю я звонил. Разговаривал даже с его женой. Секретарь спал. Жена попросила позвонить попозже. А я так ушел в работу, что все позабыл. Да потом что бы я ему стал говорить? Какие у меня соседи? Так он знает это отлично. Был у меня неоднократно. Как они себя ведут — он знает тоже. Что же я бы стал ему объяснять?

Проходит еще минут десять, потом пятнадцать, потом полчаса. Оба сидим и ждем.

— А зря, — говорит вдруг товарищ. — Зря ты к нему не дозвонился. Надо бы обязательно дозвониться.

— Слушай, — говорю я. — Вот тебе ключ. Ко мне будут звонить из редакции. Скажи, пожалуйста, что я запоздаю. Снова смех.

Дежурный поднимает голову.

— Запоздает, запоздает! — жизнерадостно объясняет он. — Обязательно запоздает! Иди, иди, звони, скажи, что он запоздает!

Товарищ уходит. Еще через десять минут приходит зам. начальника. Проходит за барьер и садится за стол.

Ему подають мою повестку.

— А где он? — спрашивает зам. начальника.

— А вот, сидит на лавочке, ждет.

Зам. начальника поднимает голову.

— Ждет? — повторяет он насмешливо. — Ну и пусть ждет. — Берет дело и переворачивает лист-другой, читает, хмыкает. Все написанное ему очень нравится: ругал милицию, так, так! Привел неизвестную? Отлично! А всего лучше другое. Он встает.

— Помните, как мы месяц назад говорили с вами по телефону? — спрашивает он торжествующе.

Отлично помню тот разговор хотя бы потому, что он совершенно не походил на этот. История эта, конечно, неприятная. У меня в комнате подрались два человека, которые увидели друг друга в этот день впервые. Дело получилось так. Ко мне со стихами ходил один из начинающих. Школьник 11-го класса. Его мать, знакомая моего хорошего знакомого, просила посмотреть стихи и оценить. Вот он ходил и читал, а я слушал. Но слушать-то я слушал, а сказать ничего не мог, т.е., в общем-то, стихи мне нравились и даже не то что, пожалуй, нравились, а просто я подумал, что из парня может получиться толк, но в стихах такого рода — с очень приблизительными ассонансами, с рваными строками, скачущим ритмом — я понимаю немного. А сказать надо было что-то очень весомое, ясное. Вот я и позвонил одному поэту и попросил его зайти. Мы были хорошо знакомы. Его книга только что вышла и имела успех, а за год до этого я отвез целый цикл стихов поэта в «Простор». Паренек был тоже из Алма-Аты, так что получилось так, что отчасти как будто встречались земляки. Поэт пришел ко мне с алмаатинкой, студенткой какого-то московского института. Она читала мой последний роман и хотела со мной познакомиться. И такое тоже иногда бывает. Сидели, слушали стихи, пили чай да пиво (больше на столе ничего не было: пареньку не исполнилось и 18). И все бы окончилось так же хорошо, как и началось, но, на беду, в этот день (и надо же случиться такому!) ко мне забрел товарищ. Я знал его лет сорок (вместе учились), а не видел года три. Вот этот уже был пьян. Да пьян-то был как — зло, агрессивно и запальчиво-обиженно. И второе совпадение: он три года воздерживался, а сегодня как раз его и прорвало. Во-первых, кончились какие-то сроки и зарок, а во-вторых, приезжала дочка, которую он не видел Бог знает сколько времени. Вот он и завелся.

Пока мы слушали стихи, все было в порядке. Я знал беспокойный характер моего друга и отсадил его подальше от девушки, в самый-самый угол, ибо он уже начал придираться. Но вот пришлось мне на минутку выйти из комнаты. Ровно на минутку, но, вернувшись, я застал что-то совершенно невероятное. Тарасов (так звали товарища) сидел в коридоре на стуле возле телефона и вызывал милицию. Из носа у него текло, и он обтирался ладошкой. Вокруг стояли жильцы и кричали о разбое. Я вышел с чайником, и все набросились на меня: «У тебя в комнате...» А я ровно ничего не понимал. Только что было все тихо,

мирно — и вдруг... Словом, я так был сбит с толку, что и сказать ничего не мог. Только потом в милиции обозначились контуры произошедшего. Но именно контуры. В общем, когда я вышел, этот мой старый товарищ, который «завязал на три года» и вдруг напился сегодня, полез сначала к девушке, а потом и к поэту. Лезет он всегда с «приемами». Тот и оттолкнул его ладонью и расквасил ему нос. Другая версия: он полез, его толкнули, он и приложился носом об угол шифоньера или стола. Что вернее — не знаю, потому что ровно ничего не видел. Пришел участковый Богданов и увел всех в отделение. Заставили писать объяснение. Тарасов пошел перевязываться и написал показания там отдельно. И так как я вообще ничего не писал и не видел, а все остальные (в том числе и обиженный) показали согласно, что все произошло мгновенно, вспышкой, в отсутствие хозяина, то этим все и кончилось. Ни протокола не составили, ни постановления не вынесли. Да и то сказать, разбитый нос не слишком большое дело, если его обладатель пьян и ничего объяснить не может, а все остальные трезвы. Да и с чего бы ударили совершенно незнакомого человека не где-нибудь, а в гостях? И не кто-нибудь, а другой гость! И все было бы в порядке, потому что даже в лупу в этом печальном столкновении не увидишь хулиганства, если бы не зам. начальника. Он вдруг позвонил в Союз. Попал на секретаря правления и рассказал ему о драке. Тот спросил:

— Ну, а какая же в этом роль Домбровского?

Пришлось сказать, что роли-то ровно никакой и нет.

— Тогда какая же его вина? — спросил он.

И опять пришлось сказать, что и вины тоже как будто нет.

— Ну, что же тогда?

— Но ведь столкновение-то произошло в его комнате, — сказал милиционер...

— Знаете, мне некогда заниматься глупостями, — ответил милиционеру секретарь. — Сейчас у нас проходит съезд, мы готовимся к конференции, а вы хотите поднять шум Бог знает из-за чего. Эти двое — сами взрослые люди. Пусть и разбираются. Чего третьего-то мешать? Ведь он не видел даже ничего.

Вот после этого разговора и позвонил мне этот самый зам. начальника. «Зайдите в милицию для разговора». Но у меня в это время сидел мой переводчик, и я просил разрешения зайти не сию минуту, а примерно через полчаса.

— Мне было бы очень неприятно, — сказал я, — вдруг оставить моего гостя одного. Что б он подумал?

Наступило минутное молчание.

— Ладно, — ответили мне наконец. — Тогда давайте поговорим по телефону. Вот вы знаете, что у вас несколько дней тому назад произошло в комнате...

— Знаю и очень жалею, — ответил я. — И ту неизвестную молодую девушку жалею, и паренька, который пришел читать стихи, тоже жалею. Не надо было им видеть этакое. А Тарасову, пожалуй, поделом — не лезь! Я его знаю! Но раз это произошло у меня, то и я виноват, конечно.

— Так вот, — сказал зам. — Я бы очень просил вас, чтобы больше этого не повторялось. Тут нужно иметь дело с настоящими преступниками, а отвлекаешься на какую-то чепуху.

Голос был мягкий, даже вибрирующий. Человек говорил вежливо, деловито, да и я сам понимал, что произошло черт знает что. «Какие же хорошие люди попадают в милиции», — вот что я подумал тогда.

— Товарищ начальник, — ответил я. — Практически, конечно, я могу поручиться вам чем угодно, что ничего подобного у меня больше не повторится. За мои пятьдесят семь лет в моей комнате подрались впервые. Но, говоря чисто юридически, какую я могу вам дать гарантию, какие меры тут принимать? Ведь вспомните, я даже как свидетель вам не пригодился. Они взрослые люди, члены творческих Союзов, и каждый, в конце концов, отвечает только за себя. Позвоните в их организации, и вы точно установите долю вины каждого.

— Да я звонил, — ответил мне начальник невнятно. — До свидания.

Так вот, этот самый человек и сидел теперь передо мной. Т.е. сидел-то теперь совершенно иной человек, насмешливый, всесильный, довольный тем, что наконец-то пришла и его очередь.

— Я покажу вашему Союзу! — сказал он. — Если секретарь опять мне так ответит, я и его привлеку. Хулиган! Вот вы кто такой.

Я так ошалел, что только и сумел повторить:

— Хулиган?

Он поднялся из-за стола. Он очень грозно поднялся из-за стола и стоял теперь передо мной, отделенный барьером, и я сразу понял все: по ту сторону барьера карающая рука

закона и сам закон, т.е. он, а по другую — преступление и наказание, т.е. я.

«Хулиган». Он «покажет». Сколько лет я уже не слышал подобного! Я вспомнил все и почувствовал, что задыхаюсь. И поскорее отошел от него.

— Ну ладно, я хулиган, а тот, что резал женщин, тот кто?

Он фыркнул.

— Кого не надо, того не режут, — ответил он. — Что, проституцию разводить вздумали? В подвал бегать? Баб водить?

Тут я пришел наконец в себя. Нет, я не подошел к барьеру, я как стоял, так и остался стоять у стены.

— Знаете что? — сказал я. — Вот сейчас на вас ваш мундир и вы за барьером. Вы, как говорится, — при исполнении. Но когда-нибудь я вас встречу без мундира и не при исполнении, тогда я вам на все отвечу по-мужски: и на хулигана, и на проституцию, и на это «баб водить». И вы этот разговор на всю жизнь запомните. Уверю вас, что запомните, гражданин хороший!

Потом мне говорили, что все это я сказал почти шепотом. А мне тогда казалось, что я ору на всю дежурку, но, наверно, кто-то словно сдавил мне горло и поэтому я говорил тихо-тихо. Сказал и сел. Кто-то сзади осторожно тронул меня за плечо. Оглянулся — Саркисов. И тот, за барьером, тоже потерялся.

— Вы свидетель! — говорит он. — Вы слышали, как он разговаривает со мной?

Тогда Саркисову в праве быть свидетелем отказали, а сейчас ему эту роль навязывают силком. Он растерянно улыбается. Я сижу на лавке. Меня не трясет. Нет, я весь застыл, окаменел в какой-то злобной судороге, как тогда, в 38-м году, перед орущей и кривляющейся мартышкой в майорском мундире. Я уже больше не могу ни говорить, ни кричать. Мне остается только сидеть и ждать, когда это схлынет. Надо мной наклоняется товарищ и что-то говорит, но я еще ничего не воспринимаю. Так проходит с полчаса. Потом подходит милиционер, заглядывает мне в лицо.

— Ну как? — спрашивает он.

— Ничего, — отвечаю я.

— Ну вставай. Поедем.

В руках его папка. До меня еще не все доходит.

— Куда поедем-то?

— В суд. Закон от девятнадцатого декабря. Мелкое хулиганство, штраф десятка, — объясняет милиционер.

Тут наконец сознание возвращается ко мне полностью, и я встаю. Хорошенькое дело, объясняйся с судьей, потом административная комиссия, потом бумажка в Союз, потом разговор в секции, рассказывай всюду и везде об одном и том же. Да и кто поверит во все это?!

И вот суд. Большая комната — зал судебных заседаний. В нем все, как полагается, — возвышение, гербы, стол, судейские кресла, скамьи подсудимых, лавки. Мы сидим на этих лавках и ждем. Мы — это несколько милиционеров, тройка или четверо сочувствующих и глазающих и примерно с десятков очень помятых, растерянных личностей в жеваных костюмах. Их привезли прямо из отделения, а ночь на полу или на скамейке и короля английского превратит в пугало, в особенности если соседство попадетя подходящее. Привели меня двое милиционеров. Один из них вышел с моим делом и через минуту возвратился сияющий. Он ходил к кому-то на доклад и показывал мои бумаги.

— Домбровский, — кричит он мне радостно. — Судью Милютину знаешь? Ну, десять суток обеспечено.

«Да, — соображаю я, — если Милютина, тогда все возможно».

Эту даму я знаю хорошо. Это воистину тот судья, который сомнений не имеет. Гражданин у нее всегда виноват. Любое учреждение для нее — государство, советская власть. Доказательства всех этих истин не существует. Но о ней я напишу особо в конце. Она стоит разговора. А сейчас мне надо передать темп, в котором все завертелось, — ать-два, ать-два! Сидим друг другу в затылок. Дверь открывается и закрывается. Следующего, следующего, следующего!.. Человек вылетает с 10 — 15 сутками через каждые три минуты.

Как-то у Охлопкова я смотрел «Бравого солдата Швейка», сцену медосмотра новобранцев. «Дышите — не дышите. Покажите язык. Годен». Пять слов — 20 секунд — лети! Честное слово, и сейчас я вспомнил Охлопкова и Швейка!

Подошла и моя очередь. Вхожу в комнату: нет, не Милютина, это какая-то другая дама. Значит, Милютина считается со мной через нее. Женщина говорит по телефону. Вхожу и сажусь, потому что разговор у нее долгий и развеселый. Судья Кочетова — это она — общительный и,

видно, прекрасный человек. Звонят ей много, разговоры веселые и дружеские. Речь идет о встречах, о поездках, о выходном дне, о том, что «мы вас ждали-ждали, а вы...». Подсудимые стоят и слушают. Из тех трех минут верные две уходят на разговоры. Трубка положена. Я поднимаюсь. Кочетова листает первый лист дела и смотрит на его последние строчки. «Выражался нецензурно», — читаю я за ней. Привычным движением она подвигает к себе бланк, берет ручку, нацеливается. В это время телефон звонит снова. Она слушает и вдруг широко улыбается. Это опять приятный разговор о поездках, о том, кто пришел, а кто не пришел, о том, что «мы ждали-ждали...». У меня все время ломит ноги и позвонок, это предвестники нервного припадка, и я опускаюсь было опять.

— Стойте, стойте, — приказывает она мне быстрым суеверным шепотом и продолжает улыбаться, упрекать, оправдываться, приглашать, сговариваться.

Это звонил какой-то, очевидно, очень хороший знакомый, потому что она и секретарше сообщает — звонил, мол, вот кто, — и та тоже улыбается. Я стою перед ней навтытяжку и слушаю. Она кладет трубку, лицо ее скучнееет — это значит, суд не прерывался ни на секунду и телефонный разговор — это тоже часть процедуры.

— Хулиганили, выражались нецензурно? — спрашивает она.

Я отвечаю ей, стараясь говорить ровно и тихо, хотя мне это плохо удается, что не дрался и не хулиганил, а просто спрятал женщину, которую били. Она опять вслух читает мне последние строчки полицейского рапорта. Мои слова ее никак не задевают, не интересуют и не настораживают. То есть происходит то же самое, что и в милиции, только здесь даже и не смеются. А я боюсь, что ей опять позвонят и пригласят куда-нибудь, и поэтому быстро выпаливаю все. Она слушает и не слушает, смотрит на меня и не смотрит, потом тихо подвигает к себе бланк. Страшные слова «рвали рот, били по лицу, резанули ножом» ее не трогают совершенно. Ей все ясно.

— Но вот две женщины подписали, — говорит она.

Я объясняю, что одна женщина прибирала мою комнату, иногда готовила, потом по разным причинам мне пришлось с ней распрощаться. Тогда я (единственный раз) обратился вот к этой «неизвестной» Арутюнян, и она мне помыла полы. Таково первое зерно скандала.

Я говорю, а у нее в руках самописки, и ничего ее больше не интересует. Она вписывает мою фамилию и задерживается перед профессией.

— Так вы что? Писатель? — спрашивает она смешливо.

Никогда в жизни никому с таким отвращением я, наверно, не отвечал: «Да!»

— Что ж вы написали?

Я молчу. Я не в силах с ней дальше говорить.

— Не слыхала, не слыхала, — говорит она. — Не слыхала такого. Вот есть Шолохов, Федин, Фадеев, Симонов... — И голос у нее поет. Потом она резко одергивает себя: — Так вот. Десять суток. — И нравоучительно: — Постарайтесь из этого сделать для себя выводы.

Я глубоко вздыхаю. Слова не идут уже у меня из горла. Что десять суток мне, просидевшему двадцать пять лет? Разве в них дело?

— Похоже, из этого сделаете вывод вы, гражданка, — говорю я. — Я постараюсь об этом.

— Э-э, — отвечает она и откладывает постановление в сторону. — Э-э!

Хулиганством называется неуважение личности, сопряженное с озорными действиями. Злостным хулиганством называются те же действия, но совершенные с крайним цинизмом. Большого неуважения к личности и большего цинизма, чем этот телефон на столе перед судьей и ее разговоры о прогулках и встречах во время вынесения приговора, перед вытянувшимся в ожидании своей участи человеком, я поистине не знаю. Это, конечно, не хулиганство, может быть, это даже и не надругательство над человеком (на него просто плевать, и все), но это, пожалуй, даже хуже. Это — унижение закона. Его величия. Это — сведение роли судьи к дамочке, тарабаниющей по дачному автомату. Какое уважение к себе могут внушить такой суд и такая судья? Гражданка Кочетова, я почти уверен, что вы неплохой человек, но кто же вам вбил в голову, что можно трепаться во время суда о встречах?

Итак, тюрьма. На этот раз Краснопресненская пересылка. В начале всего душ и машинка. Бреют догола. В этом глубокий воспитательный смысл. Пусть тебя, такого-то, увидят в той квартире, из которой увели. Смеху-то, смеху-то сколько будет. Ну, а смех, думает, по-видимому, автор этой нумной затеи (впрочем, авторов несколько — от прокурора

до начальника санитарной службы города Москвы), — тоже воспитательный фактор. Но ведь можно сделать и еще смешнее, так что окружающие кататься будут, можно остричь еще и полголовы, стричь полосами и выстригать кружок на темени! Смеху тогда будет еще больше.

Бреет один из заключенных. Делает он это умело и споро: раз, два — и готово.

— Слушай, — говорю я ему, садясь, — а ведь это же, пожалуй, издевательство, а?

Он поднимает на меня неожиданно умные и серьезные глаза и отвечает очень просто:

— А как же? Конечно.

— И давно они этим занимаются?

— С нового года ввели. В камере прочтешь.

— Гуляют, — вздыхает около меня пожилой крепкий мужчина лет шестидесяти. — Ох и гуляют.

После этого нас ведут в камеру. Ведет старшина — добродушный и посмеивающийся сверхсрочник. «Декабристы» для него что-то очень несерьезное и потешное, и в самом деле, что значит сутки, когда в соседнем коридоре сидят люди со сроками восемь, десять и более лет. Ведь тюрьма-то пересыльная. Кроме того, ему и забот с нами никаких. На оправку выводить не надо, прогулка нам не положена, на работу не выводят, а стеречь — да кого же стеречь, кто побежит? Но камера-то настоящая: железная дверь, в ней кормушка, двойные решетки на окнах, железные затворы, нары. Привел нас надзиратель, сказал «размещайтесь», щелкнул замком и ушел. Лезу на верхние нары, устраиваюсь, перевожу дыхание и оглядываюсь. Да, таких камер я еще не видел. Все полным-полно. Плюнуть негде. В 39-м и 49-м годах приводили нас иногда и в такие камеры, но часа на два-три, многовато — на сутки. А здесь находятся по полмесяцу. Это значит, что пятнадцать суток ты здесь просидишь или пролежишь, но ходить ты не будешь, даже ноги размять негде. Крошечное пространство между нарами забито столом, прогулка не положена, оправка исключена, умываются над унитазом, свежий воздух поступает через чуть-чуть приоткрытую фрамугу. Все эти невозможности: невозможность двигаться, дышать, гулять, курить не в камере, а на воздухе — искупаются, по мысли законодателя, тем, что люди большую часть дня проводят вне камеры — работают. Но в том-то и дело, что здесь никого никуда не выводят. Просто не нужна наша работа. Дай Бог, если вызовут за сутки двух-трех человек во двор или по коридору.

Хозяйственники отлично уже знают, что такое труд заключенного, и пересылку обходят за десять верст. Во всяком случае, при мне вызвали один раз двух человек, в другой раз — трех. Одних часа на полтора, других — на два. Оба раза для работ по коридору.

Сажу на нарах и думаю: а как же здесь спать? Ведь ни матраца, ни подушки, ни одеяла нет. В монастырях такие вещи называются эпитимией, послушанием и преследуют совершенно определенную вещь — умерщвление плоти. Здесь же, по мысли законодателя, все должно воспитывать. Выйдешь отсюда бритый, будешь шататься, засыпать на ходу (шутка ли — пятнадцать суток провалиться на голых досках), второй раз не попадешь. Надо мной висят правила, и я читаю их по нескольку раз в день (другого чтения нет).

Вот читаю: «Все арестованные проходят санобработку и стригутся в обязательном порядке. Примечание: женщин бреют только по указанию санитарной комиссии».

Гражданин законодатель, изобретатель вот этой мухоловки — камеры без оправок, прогулок, постелей, почему вы все же непоследовательны? Брейте и женщин! Брейте их догола. Что вас останавливает? Ведь делали же это во время фестиваля 1957 года. Пускай хулиганки, алкоголички, аморалки пройдут по улицам остриженными наголо, с синеватыми черепами. Вот будет, над чем посмеяться, вот уж кому придумают по двору всякие клички! А ведь ошельмование, надругательство — это, по-вашему, профилактика преступления! Непоследовательность губит всех благодетелей человечества, гр. законодатель, прокурор или санитарный врач города, — так стригите же, брейте, болваньте, шельмуйте женщин. Помечайте их так, чтоб над ними грохотали все газовые плиты, все кастрюли и комнаты коммунальной квартиры. Доводите наш моральный кодекс до полного всеобщего понимания. Женщин вы не стрижете, что за нелепость?

Читаю дальше: «Каждому арестованному предоставляется спальное место без постели». Выражение очень сильное. Что место без постели может быть спальным — не думали ни Ягода, ни Ежов, ни Берия. Пук соломы в мешке да горсть сена в наволоке они давали всегда. Режим вокзальной свалки в течение полумесяца — это действительно что-то совершенно новое в истории пенитенциарных систем. Впрочем, тогда у Берии, соображаю я, от человека что-то требовали: последственный должен был отвечать на вопросы, помогать следователю в сочинении так называемого «романа», называть фамилии и т.д. Осужденный работал.

Дел было много. Пытка бессонницей применялась именно как пытка, то есть только тогда, когда имело место какое-то вымогательство: подпиши показание, подтверди на очной ставке то-то и то-то, обличи такого-то. «Помоги следствию». Когда же бедный мавр, доведенный до чертиков, делал свое дело — в кого-то там тыкал пальцем, что-то там подмахивал, — его душу отпускали на покаяние — отдохни до лагеря (или до расстрела). А в лагере постели были уже настоящие, иногда даже с простыней. Не выспишься — не поработаешь, это наши начальники усвоили себе железно. Каждый бы из них счел бы сумасшедшим своего соседа, если бы он вывесил вот это правило: «Спальное место без постели».

Тут могут, пожалуй, возразить: но ведь там и сроки были иные, пятнадцать лет и пятнадцать суток — есть разница! Ах, какая чепуха! Самое-самое страшное это именно и есть не года, а десять — пятнадцать суток. Ведь только длительность переходов — одиночка (с постелью все-таки), допросы, пересылки, — одним словом, полугодовой срок переподготовки свободного человека в ЗК, в номер такой-то, и давали этому номеру силы и моральные, и физические. Они воспитывали его. Иммунизировали. С этой позиции даже следствие с его матом и кулаками имело свой благодетельный смысл. Стащи человека с постели и брось его сразу в лагерь, он и трех дней не выдюжит, а, переходя из одного круга ада в другой, люди выносили и такое, что после им самим казалось фантастикой. Один замечательный, но безымянный поэт в одном из своих стихотворений очень кстати вспомнил, что последний, девятый, круг ада — мороз и лед. Так вот в этом девятом круге мы жили годами и даже стихи там писали. Потому и жили, что до этого времени прошли все восемь кругов по порядку. А вот если б порядок изменился, если б сразу с первого круга нас кинули в пятый или в шестой, тогда бы, конечно, была катастрофа и смерть.

Всю ночь я не спал, то есть находился в том полубредовом, полубодрящем состоянии, когда действительность расслаивается и начинает делаться сквозной, через желтую лампочку, доски, стены проступала моя улица, моя комната, книги, которые я должен был прочесть до завтра, работа, которую я не закончил. Так же спали или не спали все. Лежали, смотрели на окно — скоро ли оно побелеет, закуривали, слезали, сидели, почесывая желтые, обритые го-

ловы. В шесть часов подъем. Но подъем тут — это, конечно, понятие условное. Просто в шесть часов раздача хлеба. А есть здесь никто не хочет. Вялость, духота, неподвижность, скученность — она перебьет всякий голод. В первые дни, во всяком случае.

Меня все время одолевает дурнота. Она началась еще вчера, когда я впервые увидел кровь, чуть не накатила на суде и накрыла меня с головой, когда я сидел и ждал отправки в тюрьму. Она и сейчас не оставляет меня — то нахлынет, то спадет. Слезаю с нар, чтобы выпить воды. Над раковиной умывается тот пожилой, шестидесятилетний, с которым мы стояли в очередь к парикмахеру. Это тогда он сказал «Гуляют». Сейчас я с удовольствием смотрю на то, как он умывается. Истоиво трет лицо, потом каким-то обмылком до пены мылит голову, смывает водой, вынимает из кармана чистый платок и вытирается досуха. Общим полотенцем не пользуется. Все делает солидно и основательно. И одет солидно: крепкие рабочие сапоги, грубошерстные брюки, пиджак. Кряжистый, большой, неторопливый человек. Вымылся, вытерся, повесил платок на край нар (просушиваться), потом поднял на меня глаза и слегка подмигнул.

— Ну как? — спросил он.

Это он о том, какие у меня были волосы.

— Что ж, сейчас лето, — отвечаю, — так будет легче.

— Это так, — охотно согласился он. — Я, когда был моложе, всегда брился догола.

Он идет на свое место и садится. Я, подождав немного, подхожу к нему. Он подвигается и дает мне место.

— И на много вас?

— Пустяки, всего на пятнадцать суток, — отвечает он. — Вот видишь, как хорошо гостей встретил.

Расспрашивать в тюрьме не полагается, но он как будто вызывает на разговор.

— Вы что ж, выпивши были?

— Ну! Я ее и в рот не беру.

— А?..

— А вот так!.. — И он рассказывает, что случилось.

Жена позвала в гости родственников, потом выяснилось, что закуски маловато. «Ты бы хоть селедочки принес», — сказала жена. Он и побежал на угол в магазин за селедкой. Смотрит, бочка. На бочке надпись: «Рубль сорок кг». И на витрине в судке селедка — крупная, жирная. Стоит очередь. Он встал тоже. «А дают они, понимаешь, совсем из

другой бочки. На той вовсе цены нет. И все берут, молчат. А когда подошла моя очередь, я и прошу продавца: «Вы мне, молодой человек, отпустите из той, где цена». — «А товар везде, — говорит, — одинаковый, что в той, что в этой». — «Ну, а если одинаковый, то и дайте из той». А он и не слушает, раз-раз, свешал, завернул, говорит: «Полтора рубля». — «Нет, — говорю, — я этой не возьму. Вы мне ту отпустите». — «Товарищ, — говорит продавец, — не нравится — уходите. Кто возьмет за полтора рубля?» А я заспорил: как же так, стоял и уйду ни с чем. Тут милиционер как раз подходит: «В чем дело?» — «А вот, — говорит, — задерживает очередь, скандалит». Милиционер, конечно, сразу держит за него. «Что же это вы скандалите, гражданин? Берите покупку и уходите». Я ему свое, а он меня за рукав. Я ему объясняю: так и так, а он меня локтем: «Товар везде один, вы не лавочная комиссия, чтоб проверять». Я и озлился. «И вы, — говорю, — неправильно поступаете. Вы должны за рабочего человека заступиться, а вы вон чью руку держите. Не затем вы поставлены, чтоб так себя вести». Тут он сразу меня — хлоп! «Скандалишь? Да еще милицию оскорбляешь?! Не хотел домой идти, так со мной пройдешь». И вот, видишь, пятнадцать суток за солигганство и оскорбление властей.

И он опять усмехается. Говорит ровно, спокойно, беззлобно, как будто и не о себе, улыбается и кончает:

— Вот так, дорогой товарищ, и принял я гостей.

Акцент у него нерусский. Это не то татарин, не то мордвин.

— И говорите, совсем не пили?

Он поднимает руку и истово показывает мне кончик большого пальца с желтым ногтем.

— Вот столько за свою жизнь не выпил, — говорит он торжественно. — Я и понятия не имею, что такое водка, что такое вино.

— И не ругались?

Он качает головой.

— Сроду, — говорит он твердо, — сроду никогда.

— Значит, за что-то тебя здорово милиция полюбила, — сказал кто-то рядом.

Он развел руками.

— Да я ее вижу только на улице. Даже свидетелем никогда не был, а тут вот сразу в суд и пятнадцать суток.

— А небось написали: нецензурно выражался, — догадывается кто-то.

— Ну вот, вот, это самое. Нецензурная брань, — смеется он, и все смеются тоже.

— Это уж они обязательно напишут, — объясняет тот же человек. — Тут со мной глухонемого судили. Так тоже вlepили — «нецензурная брань». Даже судья засмеялся. «Ну это уж переборщили, — говорит. — Пишут черт-те знает что».

— Ну и что?

— Да что, пятнадцать суток. Вот он рядом, в соседней камере, за стеной.

— Да не может быть, — говорю я. — Анекдот?!

— Да нет, нет, — сразу откликаются несколько голов. — Точно, точно. Вон за стеной сидит.

И все опять смеются.

Вот ведь что самое скверное: смеются.

— Да вы бы объяснили, — говорю я соседу, который в один и тот же день получил путевку в Сочи за хорошую работу и пятнадцать суток ареста за хулиганство. — Объяснили бы, как было. Ну, поругались с женой, ну, сказали ей что-то там такое. Так ведь рук-то вы на нее не поднимали.

Это молодой красивый парень лет тридцати пяти, рыжий, рослый, сильный. История у него такая. Он был премирован как лучший ударник путевкой. Завком обещал выдать тридцать рублей на дорогу. Ехать через два дня.

— Ну, конечно, хватили немного на радостях. Отрекаться не буду. Но так... Нормально. Прихожу к жене, говорю ей — вот какой мне почет, а она сразу чуть не в морду. «Уж договорился там, — кричит, — со своими дружками. Поедешь пьянствовать да котовать, а я тут без денег буду сидеть! Знаю я ваши отдыхи». Ну, слово за слово. Я сначала смехом, смехом, а потом уже пуганул ее как следует. Она мне, я ей. А руку не поднимал. Я этого не придерживаюсь — нет! Но крику, верно, много было. Она в кухню убежала, а я спать лег. А часа через два будит милиционер: «Собирайся, пойдём». — «Куда?» — «В милицию, соседи заявление написали». Вот. Привели, посадили. А на другой день пятнадцать суток.

Все смеются. Уж больно здорово это получается. Молодцы милиционеры! Молодец судья! Вот тебе и курорт! А меня возмущает нелепость положения. Как, за что, почему? Человек получил путевку, ну, поругался с женой, ну, покричали друг на друга, все может быть, и жену я тоже понимаю, ей действительно обидно — муж уезжает в Сочи (а он, наверно, ух, какой парень!), а она остается одна, в общем,

порутились. Но где же здесь преступление? При чем тут указ, милиция, суд, пятнадцать суток, Краснопресненская пересылка, бритая голова — в общем, ничего не поймешь, какая-то сплошная нелепость.

— Да ты бы и рассказал, как и что, — говорю я, хотя уже понимаю, насколько это беспомощно. Опять смеются. Но уж не над ним, а надо мной. А один с наслаждением рассказывает:

— Тут ведь вот какой суд. Судья меня спрашивает: «Ну, рассказывай, как что было». А я говорю: «Да что же вам рассказывать, когда вы уже проставили пятнадцать суток». Засмеялся. «Ишь ты, какой глазастый, ну тогда садись на лавку, жди. Следующий!» Им объяснишь, им, чертям, как раз объяснишь!

Что им ничего не объяснишь, это я уже понимаю, но и согласиться с этим не могу.

И еще мне подносят такую же историю. Рассказывает уже пожилой человек с проседью. Поссорился с женой, покричали, и очутился тут. Жена потом в милицию, чуть не на коленях валялась: «Что ж мы с детьми есть-то будем? Ведь у меня и сейчас ни копейки в доме, а он тут еще пятнадцать суток просидит». Ничего и слушать не хочет. Раз к нам попал, то...

Этот уже озлоблен, он не говорит, а лает: «Да чтоб я теперь! С ней!.. С этой стервой! Я и близко не подойду! Посадите меня — все! Все! Она это, сука, чует, — ходит, воет! Нет, нет! Я такой! Она знает! Я такой!»

Вероятно, он и действительно «такой». Говорит он решительно и как-то очень страшно. Он оскорблен до глубины души. Семья разбита. Да, это, кажется, точно. Но говорить с ним очень тяжело. Это какая-то злобная конвульсия, припадок. Я поскорее отхожу.

Меня интересует один человек. Я заметил его еще в бане. Обратил внимание на то, как он мылся, медленно-медленно проводил ладонями по лицу, словно творил намаз. Сейчас он сидит на краю нар, опустив руки вдоль колен, и молчит. Он совершенно лысый, не бритый, а именно лысый, и серый, хотя, кажется, лет ему не так уж много. У него странная сосредоточенность. Он словно к чему-то все время прислушивается, примеривается, во что-то вдумывается. Я подождал удобный момент и, когда люди расползлись по нарам или же поползли к столу гонять козла (в камере непрекращающийся грохот — книг нет, на работу не выводят, так вот нарезали из фанеры дощечек и гремят

ими по восемнадцать часов в сутки), так когда все разбрелись, я подсел к нему и спросил: а он-то тут за что? Он ответил:

— Жильцы сдали.

Я спросил:

— Скандалил?

К моему удивлению, он кивнул головой. А вид у него был совсем не скандальный.

— Что ж ты так?

Он промолчал. И опять в нем было что-то очень странное, непонятное, отсутствующее — словом, что-то очень и очень свое. И сидел он здесь по-особому — уверенно и стойко, как космонавт в кабине. А около угла рта все время держалась и не спадала кривая складка раздумья. Это при полной неподвижности.

— И что, большой скандал был? — спросил я.

— Да нет, не особенно. Просто постучал и покричал. Разозлился я тогда очень. Ну пристают и пристают ко мне.

— Почему же?

Помолчал. Подумал.

— Да не работаю я нигде, а выслать меня они не могут.

— А почему ж не работаете?

— Да не берут. Посмотрят документы и говорят: нет, нам не надо. Я шизофреник.

Он вдруг поднимает на меня глаза, и вижу в них что-то очень мое — собственное, человечески скорбное.

— А на пенсии трудно, очень трудно. Маленькая! Да и хранить ее я не умею. Обязательно выманят, возьмут и не отдадут, — сказал, смущенно улыбнулся и опять ушел куда-то.

Вот все эти двое или трое суток, как бы ни кричали в камере, о чем бы ни спорили над ним и перед ним, как бы его ни толкали на бок, он сидел так же тихо и неподвижно, не доступный ничему и никому. Его толкнут, он слегка привалится на бок, растерянно потрет его, опять сядет и думает что-то свое, думает, думает. «Господи, — подумал я, — так неужели они и этого воспитывают? Хотят ему что-то доказать? От чего-то остеречь? Да разве через пятнадцать суток он будет иным? Я знаю таких по лагерю. Они весь свой срок, и пять, и десять лет, проводили в таком же полусне. Иногда накатит на них что-то, они вскочат, побегут, застучат, закричат, а потом опять погружаются

в свою прежнюю мать. И снова для них и день — не день, и год — не год».

А дышать мне все труднее и труднее, камера к вечеру становится голубой от дыма. На верхней полке и вообще не усидишь. И вот я толкусь внизу и разговариваю с людьми. Мне хочется опросить как можно больше человек. Почти все преступления здесь одинаковы: ссора с соседом, ссора с женой, квартирные склоки. Под понятие хулиганства ни одно из этих дел не подходит. Это все больше казусы из той категории, которые раньше назывались «делами частного иска». Один жилец поссорился с другим, жена поругалась с мужем, что-то случилось в кухне над газовой плитой. Таких столкновений было сколько угодно и до этого. Но вот кто-то из более осведомленных скандалистов или соседей понял, что идет кампания, что милиция заинтересована в том, чтобы случаев мелкого хулиганства сейчас было указано в сводках как можно больше (раньше были заинтересованы как раз в обратном), и позвонил в милицию. Пришел милиционер, увел с собой одного и объяснил другим, как и что на него надо писать. А там рапорт (с обязательным «выражался нецензурно»), постановление, пятнадцать суток. Обжалованию не подлежит. И все — сиди! И еще я думаю, что бумага все терпит и на ней все цифры выглядят убедительно. А между тем что, по существу, могут значить хотя бы такие строки сводки: «Выявлено случаев хулиганства за отчетный период двести двадцать пять случаев. Из них сто человек были привлечены к уголовной ответственности по 206-й, а сто двадцать пять осуждены на разные меры наказания согласно Указу от 19 декабря». Согласимся сразу, кто эти сто, — понятно: над точностью квалификации их проступков трудились сначала следователи, потом прокуратура, затем суд и защита; их дела направлялись в кассационные инстанции, контролировались прокурорским надзором, так что они не остались без защиты, но вот те сто двадцать пять, осужденные единолично, не защищенные кассационными инстанциями, не имеющие права жаловаться, неведомые прокурору — они-то кто? Насколько они виноваты? Да и виноваты ли вообще? Кто это и как это выяснит? А выяснить это нужно во что бы то ни стало, и даже не из-за человечности, а во имя борьбы с тем же хулиганством — и мелким, и крупным, и самым-самым крупным, граничащим с убийством и бандитизмом.

Потому что Указ от 19 декабря, по которому я и сижу, это установление совершенно особого рода.

Почему? А вот почему: из всех возможных целей наказания (кара, предупреждение новых преступлений, влияние на других членов общества) указ больше всего (а может быть, и исключительно) преследует одну, главную — «перевоспитание осужденных... в духе уважения к правилам социалистического общества», то есть указ — это обращение, апелляция к сознанию самих осужденных. «И сделайте из этого для себя выводы», как сказала мне Кочетова. Но какие же я выводы могу для себя сделать, если я судью не уважаю, нарушений не совершил и права на свое перевоспитание за этими лицами, увидев, как они действуют, не признаю. Ведь о моей изоляции дело не идет, я вернусь в ту же квартиру, из которой меня увели, к тем людям, которые на меня «доказали». Я встану к тому же станку или к той же плите, у которых стоял до этого. Буду жить с той же женой — так как я буду жить? С чем я вернусь? Что я понял и чего я не понял? Какие сдвиги во мне произошли? Ведь вот самые главные вопросы. И ответы на них получаются прямо противоположные — в зависимости от существа дела, следствия и суда. Получил очень много, если понял, что поделом была вору мука: все — если по одну сторону судейского стола сидел закон, а по другую стоял я — нарушитель. А если не так, если нарушитель сидел именно за судейским столом, если я считаю правым себя, а не его? Для какого дьявола тогда все эти милицейские рапорты с их дежурными формулами, издевательские разговоры в дежурке, суд, который не судит, а только осуждает, судья, который не спрашивает, а телефонничает да вписывает сутки — пять, десять, пятнадцать? Если после эдакого суда я потеряю уважение и к суду вообще, и к закону, то чем это может быть искуплено? И не заболею ли я тогда тем самым скептицизмом, тем «неверием», которые все мы считаем какой-то непонятной нам до конца болезнью молодежи? Задумывалась ли судья Кочетова когда-нибудь над этим вопросом? Приходили ли ей эти вопросы вообще в голову? Во всяком случае, могу сказать с полной определенностью и полнейшей ответственностью, что в той камере Краснопресненской пересылки, где я находился, никто ни во что не верил и никто ничего не уважал. И еще, вспоминая прошлое, думаю: опасность кампании еще в том, что она творец видимостей. Она создает видимость борьбы, види-

мость преступления, видимость служебного героизма и в заключение призрак победы (ох, как потом за него придется дорого расплачиваться!)¹. Под конец же она превращается во взбесившегося робота, который уже не подвластен никакому контролю, или — еще проще — в раковую опухоль, которой дано только расти и расти, разрушая все вокруг. Так было в те годы, которые я уже поминал, тогда спрос поистине рождал предложение, и понятно, почему, а сейчас как? Вот в этих делах о мелком хулиганстве.

Наступает ночь. Камера затихает; я лежу и размышляю о своем счастье (не о судьбе — что о ней сейчас думать? А именно о счастье). Очень мне уж не везет в столкновениях с нашей юстицией. Я написал антирасистский роман и был осужден за расизм (сейчас роман издан).

Я заключил договор на перевод, сделал его, сдал в редакцию, и судья Милютина осудила меня за то, что я не сделал перевод и не сдал его в редакцию (а сейчас он печатается).

Я спрятал женщину от хулиганов, и меня осудили за хулиганство (а хулиганами даже не заинтересовались). И это не были запутанные дела — нет, все было ясно, явно, с самого начала говорило в мою пользу: и логика, и свидетели, и документы, и все равно я был осужден. Таково уж мое счастье. Я вечно кого-то раздражаю и не устраиваю. Или — беда нашей судебной практики? То, что она уж слишком многих устраивает и слишком мало кого боится раздражить?

И тут я вспомнил о «полканах».

В 1949 году нас пригнали в Тайшет. Около палатки нас встретил старший дневальный — старый, заслуженный вор. Мы шли, а он стоял и смотрел на нас.

— Ну что, полканы, пригнали вас? — спросил он меня. — Тут уж вам хана!

— Почему мы полканы? — спросил я.

Он фыркнул.

¹ Это писалось в 1966 году, а в половине 1969 г. уже пришлось признаваться: «За два с половиной года действия указа «Об усилении ответственности за хулиганство» мы получили эффект меньший, чем ожидали» («Известия» от 30.05.1969 г. «Милиция и мы»). Ох, эта святая простота! Как ты тут не к месту!

«Нам ничего не дал за 6 лет этот указ — хулиганство только растет», — сказал на встрече с писателями в 1972 году зам. министра МВД Крылов.

— А кто ж вы? Волки? Нет, это кто-то с маслом в голове вас сдал за волков. Ну, вот ты, — обратился он к моему соседу, — за что ты сидишь? Вредитель? Божественник?

Это был профессор Эрнст — высокий, худой старик астматик. Он скинул мешок на снег и стоял перед вором, вытянувшись.

— Я шпион, — ответил он серьезно.

— Ну вот, немецкий шпион, — радостно подхватил вор. — Еще двоих таких, как ты, и орден следователю! Эх вы, полканы, собачьи ваши шкурки.

И он отошел, а через минуту мы услышали его крик — он кого-то бил и тащил с нар.

— Я вор! — гордо орал он. — Я человек! Я воровал и сел! А ты кто? А ты за что? Ах, ты ни за что? Ну и засохни, пока не стащат в столярку (в столярке стояли гробы). Вон иди к параше. Дай место людям! Безвинный!

Да, страшное дело сидеть в лагере ни за что — понял я тогда. А утром мне профессор Эрнст — искусствовед и археолог — объяснил все по пальцам.

— Вот, скажем, дорогой мой, какую-то деревушку одолели волки. И столько их развелось, что за каждую голову власть положила по сотне. А пришел в контору мужичок-серячок, увидел, что там сидит жулик, возвратился в избу, снял с гвоздя ружье. «Полкан, Полкан!» Пиф-паф, голову долой и: «Вот, ваше степенство, волчок-с, пожалуйста премию-с». Спрашивается, — и тут профессор Эрнст загнул первый палец, — много ли будет побито волков? — Он загнул второй. — Много ли останется в живых полканов? — Загнул третий. — Много ли в селе появятся настоящих охотников или и те, что были охотниками, превратятся в гицелей¹? — Он показал мне кулак и спросил: — Ясно?

— Ясно, — ответил я.

Этот разговор я потом вспоминал не раз, когда встречался на улицах со своими бывшими товарищами по лагерю; все диверсанты, шпионы-террористы, агенты иностранных разведок либо получали пенсии, либо были реабилитированы посмертно (иногда даже с некрологами). Это все были полканы! Временно исполняющие обязанности волков!

(Не могу забыть только один случай, хотя тут он как будто и ни к чему. Во время моих долгих и тягучих хождений по мукам я почти всегда встречал одну женщину. Мы с

¹ В собачников — в тех, кто с собак шкуры дерет.

ней часами сидели в коридоре — я просто засматривался на нее: такое у нее было замкнутое, холодное лицо. Я еще суетился, советовался с кем-то, что-то там строчил, она сидела молча. И вот раз я встретил ее у входа. Она шла развинченной походкой, пошатывалась, лицо у нее было мокрое, но она улыбалась. «Поздравьте меня, — сказала она счастливо. — Все. Муж реабилитирован посмертно!»)

А что случилось с волками? А почитайте-ка их заграничные мемуары.

Такова вторая беда карательных кампаний: еще полбеды, что невинные гибнут, но вот что с врагом-то делать? Ведь для него нет времени более благоприятного, чем такая пора — пора взбаламученного моря. Работать в «мутной воде» — ведь это мечта всех преступников.

«Выявлять, пресекать, хватать, судить, да нет, что там судить? И милиции хватает, — верещат газеты, — мягки законы, малы сроки, недостаточны санкции. Давай, давай, давай! Товарищи домохозяйки, на вас вся надежда. Бдите, заявляйте, пишите! Товарищи соседи...» И вот уже все, что не нравится обывателю в квартирных склоках, начинает называться вредительством, агитацией (в 1938-м), антиидейностью (в 1946-м), космополитизмом (в 1949-м), тунеядством (в 1962-м), хулиганством (в 1966-м)¹.

В истории советской литературы был такой печальный случай: один великий русский поэт дал пощечину крупному писателю — публично. Демонстративно. Нарушая порядок в учреждении. Что было бы с ним сейчас при нашей судебной практике? Конечно, он предстал бы перед той же Кочетовой, и она спросила бы его: «Как? Поэт? Мандель-штам? Осип Мандель-штам? Никогда не слышала!.. Маяковский, Есенин — этих да! Ну вот вам десять суток, и сделайте для себя выводы». Обязательно она так бы сказала ему.

Писатель моих лет дал в морду молодому наглецу, который обозвал его старой сволочью. (Почему он долго занимал телефонную кабину.) Собралась общественность. Старика и парня доставили в милицию. К счастью, это было год тому назад, и дежурный тоже попался правильный, но сейчас все было бы иначе, и на одного старого, но мелкого хулигана в Москве стало бы больше. А кто от этого выиграл бы? Советское общество? Моральный кодекс? Краснопрес-

¹ В соответствии с этим хочется припомнить: в 1936 году был выписан ордер на арест Домбровского — русского, в 1939-м — Домбровского — поляка, в 1949-м — Домбровского — еврея, а в приговоре всегда стояла уж настоящая национальность.

ненская пересылка? Выиграла бы, конечно, оперативная сводка, та страшная черная галочка, которая вечно сопровождает такие кампании и орет на весь Союз о победе над преступностью! Выиграл бы самый плохой человек из всех — мелкий хлесткий фельетонист — судья, осуждающий без суда и следствия¹.

Итак, вот остальные беды нынешней кампании.

1. Отсутствие судебного и надзорного контроля над органами порядка. Это дает возможность выдавать за мелкое хулиганство все что угодно — любую неприязнь, ссору, столкновение. Это условие, при котором легко сводить личные счёты и выживать соседа. Это практика доносов и петиций. Это суд коммунальной кухни и лестничной клетки, которая называет себя общественностью. (Вот оно: «Давай, давай!»)

2. Расширительное толкование законов: оно возвращает нас к юридическим теориям Вышинского, к объективному вменению, к осуждению по аналогии.

Пример тому — дела о тунеядцах. Все мы помним печальное дело Бродского. Печальное хотя бы и по последствиям для всех нас, по резонансу, который оно вызвало в мире. Не очень давно в «Известиях» писали о высылке из Москвы такой тунеядки: дочь по уговору сестер и братьев ушла с работы, чтобы ухаживать за умирающей матерью (рак). Кроме этих двух пожилых женщин — умирающей и ухаживающей, в квартире никого не было. И вот все-таки одну из них оторвали от смертного одра другой и угнали в Сибирь, а другую оставили умирать. Прокурорского протеста не было. Каждый умирает в одиночку — вот, наверно, мораль прокурора. И совсем недавно в «Литературной газете» появился любопытный материал. «Общественность» какого-то дома требовала высылки нескольких соседей: образ жизни их, их интересы, их знакомства не помещались в сфере понимания этих соседей. То же формальное затруднение, что тунеядцы эти каждое утро вскакивают в восемь часов и несутся на службу, они обошли с гениальной легкостью. Одна старая общественница (вот уж поистине «зловещая старуха») вывела такую формулу: «Они работой маскируют свое тунеядство». И для кого-то, восседавшего за столом какого-то президиума, это оказалось вполне убедительным.

¹ «Нигде в мире ни один журнал, ни одна газета не осмелились бы публично навязать свои приговоры по делу, которое еще только будет рассматриваться судом и которое им самим известно только по слухам и сплетням», — так писал секретарь Верховного Уголовного суда Есипович, но в 1864 году!

тельным. Вероятно, он был просто раздавлен железной логикой: тунеядство скрывается... А вот общественность выявила, разглядела! От нее не скроешься!

И еще хуже: какой-то кандидат в массовой брошюре втолковывает читателю, что тунеядец — это не тот, который вообще не работает, а тот, кто хочет мало работать, а получать много. Логическое ударение, конечно, на слове «хочет» — он хочет получать много. Но ведь под эту научную формулу можно подогнать кого угодно. Даже Федина и Фадеева! Ведь обыватель так про нас и говорит: «Не захотел ты кирпичи таскать — стал ты бумагу марать».

Об указе о тунеядстве, о преступлении странном, ускользающем от определения, не только не вошедшем в Кодекс, но и просто не упоминаемом в нем (все-таки слава нашим кодификаторам — они не преступили этот рубеж), стоило бы поговорить отдельно. И конечно, такой разговор обязательно состоится в самом недалеком будущем. Но сейчас я пишу как раз не об этом. Сейчас я пишу о том, что вполне ясное криминалистическое понятие проступка, имеющего четко ограниченные юридические грани, снова на наших глазах превращается в какую-то туманность. Все неблагоприятное, с чем надлежит бороться, предлагают окрестить хулиганством. Так кто-то через печать советует всякое оскорбление считать хулиганством и дать право любому тащить в милицию обидчика. Не считаясь с обиженным. Повторяю — любому! Вот что не только страшно, но и примечательно. Да разве любой может знать, что к чему? Разве могу я объяснить любому, почему я поссорился, скажем, с родственником, с другом, с женой? А ведь он требует этого объяснения. Он в комнату мою лезет и милиционера с собой ведет — я начинаю их гнать, а милиционер уже самописку вынул: «Молчите, вот свидетель, что вас обидели!» — «Да позвольте, — говорю я, — обидел, не обидел, это мое дело. Кто вас уполномочил быть щепетильным за мой счет? Оставьте нас обоих в покое». А дежурный (уже дежурный и уже в отделении) мне отвечает: «Нет, не оставим. Докажите нам сначала, что вы не трус, а гордый советский человек. А вдруг вы сукин сын? Тогда мы обязаны — государство и общественность — вас защитить. Мы тебя, дорогой товарищ, научим «свободу любить». Мы привьем тебе чувство собственного достоинства. Воспитаем в духе нашего морального кодекса. Ах, вы недовольны?! Ах, за вас заступаются, а вы еще недовольны?! А ну-ка покиньте помещение. Освободите, освободите помещение, говорю вам. По-

вышааете голос? Ну, тогда пройдемте». И протокол: «Будучи доставлен в отделение милиции, в ответ на вопрос дежурного о случившемся гражданин (фамилия, имя, отчество) позволил себе... Выразался... по адресу (чин, фамилия)... Оскорблял... Грозил... Говорил, что он...» Подпись общественности. Рапорт милиции. Решение судьи — все! Сидите оба!

Товарищи, да ведь это то самое, что Ленин называл «вогнуть в рай дубиной». Даже преследование за такое опаснейшее преступление, предусматривающее смертную казнь, как изнасилование, во всех странах возбуждается исключительно по иску потерпевшей, а здесь любой, услышав шум за стеной, может тащить меня в милицию. И не как обидчика, а как обиженного. Вот до чего дошла наша чуткость и любовь к человеку. Воистину: «Боже, избави меня от друзей...»

3. Третья особенность и беда таких дел заключается в упрощении судебной процедуры. Ведь, по существу, нет ни одной судебной гарантии, к помощи которой мог бы прибегнуть арестованный или уже осужденный. В делах о мелком хулиганстве нет ни презумпции невиновности, ни права кассации, ни обязательного ознакомления с делом. А так как фактически они выведены из-под прокурорского надзора, то и бремя доказывания ложится на плечи обвиняемого. То есть никаких обязательств у судьи Кочетовой передо мной, подсудимым, нет. И мотивированного приговора тоже нет — все заменяет печатный бланк. Вот как я уже писал: «Расскажите, как дело было. А впрочем, чего там рассказывать, садитесь и ждите конвоя. Следующий!» Вероятно, в принципе возражать против упрощенности суда по делам мелким и повседневным не приходится, но учитывать ее надо обязательно. Ведь здесь суд не только самая первая, но и самая последняя инстанция. Поэтому она не столько суд, сколько совесть, честь. Культура суда должна быть исключительно чиста и высока именно по этим делам. А ведь каждый судебный работник знает, какая беда ожесточить человека, поселить в нем неверие и безнадежность, и наплеватьство.

(Я хочу упомянуть об одном очень тяжелом факте моей биографии. Мне как-то очень долго — лет 6 — пришлось пробыть среди власовцев, не среди жертв — хотя, в общем-то, жертв было больше, — а, так сказать, среди волков. Это были очень страшные и закаленные в ненависти люди. Целеустремленные и непримиримые. Так вот, добрая половина из них в доверительных разговорах со мной, когда я

спрашивал их о том, что же они думали, когда шли с Гитлером или участвовали в том-то и том-то, рассказывали мне о чем-то совершенно подобном — о таких же судах и следствиях. И абсолютно не обязательно, что это были суды уголовные, с тяжелыми санкциями, — нет, это могло быть простое школьное собрание, собрание актива и общественности, колхозное собрание, милицейский протокол и многое-многое другое. Важно было одно, и это они подчеркивали всегда, — первая трещина в сознании появлялась не от вражеского удара, а от пощечины, от плевка, от отсутствия государственной совести.

Оговариваюсь опять и сейчас же — конечно, не одно это было причиной их тяжелейшей моральной катастрофы, но ведь одной причины в таких случаях никогда, как известно, и не бывает. Есть ряд причин, есть система причин. Совершите над человеком одну несправедливость, большую, циничную, несмываемую, и иной чуть не с мазохистским удовольствием будет замечать, коллекционировать и сам вызывать на себя удары. Ему нужно обязательно укрепить в своем сознании эту зудящую идефикс — все плохо, все ложь. Все как есть. Вот так было и в том случае, о котором я рассказываю. И знаете, кто «поддакивал»? Бывший прокурор города, бывший следственный работник, бывший судья. Эти-то уже были абсолютными атеистами. Они все грома выделывали собственными руками и уже ровно ни во что божественное не верили. Я не провожу, понятно, аналогии. Но скажите, во что верят те блюстители закона и порядка, которые называют известную женщину неизвестной, вписывают дежурную формулу о нецензурных выражениях и вообще ведут разговоры в таком духе: «Убивают — пусть убивают, стащим за ноги и похороним! Бьют? Мало тебя, сука, бьют, тебя давно убить нужно».)

Осуждение — само по себе тяжелое наказание, его можно выносить только обоснованно, оно должно доходить до сознания нарушителя. И по этой конечной цели должно равняться все: милиция, суд, прокуратура, тюрьма. Если они не уяснили себе этого, пользы от наказания нет никакой. А у нас чаще всего никто не понимает этого. И вот чего я боюсь еще — не появилось ли у нас в юстиции уже то, что хирурги называют «привычным вывихом»? «Коленная чашечка времени вывихнута из своего сустава», — сказал Гамлет Горацио по поводу таких случаев.

Район — сеть переулков, — в котором я живу, узкий, темный и страшноватый. Это Сретенка и Цветной бульвар.

У этого района издавна плохая слава. (Помните Чехова: «И как не стыдно снегу падать в этот переулочек!» Это про нас.) Скандалы и драки с темнотой вспыхивают почти ежедневно. Но попробуйте отыскать милицию — где там! По-человечески это понятно: у хулиганов и ножи, и свинчатки, и еще всякие игрушки, и живут они по соседству; да и вообще мало ли бывает соображений у человека — не лезть на нож! Чувство долга? Но план и без того выполняется и перевыполняется, рапорты-то — вот они! Ради них всех запечных тараканов подобрали! Совесть? Но она ведь, знаете, сговорчивая, доступная к убеждениям. Судья? Но этот рыцарь не только без страха, но и воистину без сомнения — он припечатает все, что ему подsunут. А между тем, если двое получили одинаковое наказание, но один за дело, другой за так или за мелочь, — уважения к закону не останется ни у того, ни у другого. И когда они повстречаются на нарах, то — повторяю еще раз — неловко будет себя чувствовать именно невиновный. И камера «грохотать» будет только над невиновным. «Я-то знаю, за что сижу» — в тюрьме это очень гордые слова. Они всегда бросаются в лицо «Фан Фанычам» и «Сидорам Поликарповичам»... А бритая голова... ну что ж, она тоже под конец станет модой и бравадой. Хулиганы — люди с фантазией. Они стилиаги. Бритая голова скоро будет тем же, что и сердце на руке или голая баба у причинного места «Человека».

Наконец уже утро. Вот сидим на нарах и обсуждаем все это. Нас трое: один — студент, другой — инженер и третий — я. Нас объединило то, что мы все считаем себя попавшими зазря (оно и вправду так, в камере только два человека признали себя виновными). Сначала над нами попросту «грохотали»: нашли о чем рассуждать — о правде! («А ты ее видел когда-нибудь? Ну, какая она? Расскажи»), о законе («Закон стоит 27 коп. и заперт у судьи в шкафу»). Тут я вспоминаю опять 49-й год («Вот где твоя конституция, — сказал мне следователь Харкин и подергал ящик стола — он был заперт. — Видишь? Иной для тебя нет»). Так вот, сначала смеялись, шикали, даже покрикивали совершенно по-лагерному (и здесь есть «люди»): «А ну, кончай баланду». А потом все-таки прислушались, кое-кто из молодых стал вздыхать: «Конечно, батя, вы вон там сколько просидели, вы все обдумали. Вы если и неправду нам скажете, то разве мы поймем». А под конец стали кое с чем и соглашаться.

— Да ведь это хулиганье — самое-самое зло, — сказал мне один парень лет тридцати. — Вот у меня шурина ночью шилом ткнули в поясницу, так какой теперь из него мужик? Лежит без ног. И жена ему ни при чем.

— А сидишь ты, — засмеялся кто-то.

И он с горечью ответил:

— Так мне и поделом, дураку, знаю я, кто это сделал, знаю, а вот не пошел, побоялся. Таких не больно трогают. Возьмут и выпустят. А он каждый день мимо меня проходит и усмешается.

Что ему ответил, я не помню, потому что припадок накрыл меня внезапно. Я вдруг почувствовал, что доски плывут, потом, что сердце у меня раздалось, поднялось и вот-вот выпрыгнет через горло. Я закричал и будто подавился криком.

Сколько времени прошло — опять-таки не знаю, но очнулся я снова от крика, но уже не от своего. Орал молодой парень, студент, тот самый, с которым мы только что толковали. Он стоял на нарах и потрясал кулаками.

— Тут автомат, автомат нужен! — кричал он. — Больше ничем тут не сделаешь! Что с ними толковать попусту?

Я открыл глаза и приподнялся. Мне дали руку, и я сел. Он сразу замолк и наклонился надо мной.

— Ну что, батя? — спросил он заботливо и тихо.

— Ты не базарь, — сказал я. — Тоже автоматчик мне нашелся. Тут есть какая-нибудь сестра?

— Уже позвали, — сказал он быстро. — Побежала за каплями. Сейчас, батя, придет. Вы лягте.

Сестра пришла и капли принесла. Это была обыкновенная валерьянка, и больше ничего. Я выпил и лег. Очень болели ребра, и я догадался, что это мне делали искусственное дыхание — один разводил руки, другой ставил коленку на грудь и давил. Я эту операцию знаю и уважаю. Когда-то она была нашей единственной скорой помощью, но в моем-то положении она, пожалуй, мне и ни к чему.

— Вот что, ребята, — сказал я. — Если мне опять станет плохо, вы мне больше грудь не ломайте, а то вы меня совсем доконаете. Вы сразу зовите врача.

А сам соображаю — вот если бы мне на полчаса выйти на улицу, хотя бы с лопатой, может, я и отдышался бы. Но знаю, не возьмут, уж больно я сейчас дохлый. Коридорный мне утром так и сказал: «Куда нам такого, лежи! Нам и нужно-то двоих — хлеб раздавать по камерам».

Ночь я провожу очень тревожно, но днем прихожу в себя полностью, лежу и думаю: «Ладно, оклемаюсь, выдержу». Мне обязательно хочется выдержать. Скоро ли дождешься вновь такой творческой командировки? А мне ее так не хватало. Я ведь пишу роман о праве. Но припадок опять накатило внезапно и уж совсем по-новому — просто выключилось сознание, перегорело, как лампочка, — и все. Память после этого возвращалась ко мне только трижды, толчками: первый раз, когда камера ломала дверь, стучала, пинала ногами и вопила. Второй раз, когда надо мной наклонилась тюремный врач и я отвечал на ее вопросы. Что отвечал — не помню. Помню только, как она требовала: «Больной, откройте глаза! Больной, почему вы все время закрываете глаза?» А мне просто было больно смотреть. До ломоты резал противный желтый свет. Затем носилки, «скорая помощь», два белых парня по бокам и больница. В больнице тоже не то полубред, не то полусон, а если явь, то какая-то очень мутная. Так мне представляется, что я очень долго разговариваю с какой-то молодой женщиной в белом халате, отвечаю на ее вопросы и сам рассказываю обо всем, что со мной случилось. Женщину эту я увидел на другой день. Оказалось, что она врач нашей палаты и в этот вечер как раз дежурила. Но говорить я с ней все-таки вряд ли говорил, потому что была ночь и полутьма, и все спали. Так что, скорее всего, это, правда, был бред. Хотя кто его знает? Может, и говорили. Тема эта волнует каждого, а врача тем более. Ведь историю с двумя врачами, которых из милиции пришлось отправить на «скорой помощи» в больницу Склифосовского, рассказывали мне именно врачи и сестры.

Наутро больные снабжают меня двумя копейками, и я, несмотря на строжайший запрет, встаю и пробираюсь к автомату. На другой день ко мне начинают приходиться друзья. Обрадовать меня им нечем. Оказывается, они уже побывали у районного прокурора, и тот затребовал мое дело, просмотрел и мрачно усмехнулся. «Пусть он сидит и молчит, — сказал он. — Ему и прибавить еще нужно. И я прибавлю, если кто-нибудь попросит».

«Я не вижу никаких оснований для принесения протеста», — сказал он другому. Вот это для меня абсолютно непостижимо! Именно с прокурорской точки зрения непостижимо. Ведь я в двух объяснительных записках (хотя и, сознаюсь, написанных скверным почерком) сообщал:

1. О том, что я спрятал у себя избитую и порезанную женщину, что она была окровавленной и просила помощи, что преступники — картежная шайка, засевшая у нее в ту минуту, когда меня уводили, сидели в подвале.

2. Что женщина эта совершенно облыжно названа неизвестной, ее знает весь наш дом и все 18-е отделение милиции (а если не знали, почему не заинтересовались, кто она?).

Разве не нуждались эти мои показания в проверке и вызове хотя бы этой свидетельницы?

3. При всем с начала до конца присутствовал мой товарищ. Он вместе со мной подписал мои объяснения. Больше сделать ему ничего не дали. Я заявлял об этом и милиции, и суду. У судьи, положим, был плохой слух. Но как пренебрег этим прокурор? Ведь он отлично знает, что в Указе от 19 декабря есть такое указание:

«Материалы о мелком хулиганстве рассматриваются народным судом единолично, с вызовом... в необходимых случаях свидетелей», — так разве это не был тот самый необходимый случай? Пусть судья не обратил внимания на то, что я говорил. Но как прокурор-то мог пройти мимо всего этого? Впрочем...

— Этот человек просидел двадцать пять лет, — сказал прокурору один из товарищей.

— Ну что ж, — резонно ответил его помощник. — За это перед ним ведь извинились.

Боже мой, как все просто и ясно для человека, если он прокурор!

Но вот что могло и даже должно было остановить внимание прокурора — это донос. Тот самый, о котором я уже упоминал. Я сознаю, «донос» — слово очень плохое и даже ругательное, но в данном случае я употребляю его просто как технический термин. В самом деле, как можно назвать заявление соседа о соседе, которое кончается так: «Никаких литературных и творческих разговоров Домбровский со своими гостями, как знают жильцы, никогда не ведет»? А какие же он ведет? Ведь, чтобы написать эдакое, надо стоять под дверью, и не один раз, а многократно. Надо подслушивать, вникать, запоминать, записывать. Отвечать на это, прости Господи, «обвинение» мне просто не хочется. У меня бывали не однажды Ю.Олеша, С.Злобин, С.Антонов, Ю.Казakov, И.Лихачев, С.Наровчатov, Ю.Арбат, С.Марков, С.В.Смирнов, С.Муканов, З.Шашкин (этих двоих я перевoдил). В этой комнате я написал и несколько раз читал вслух своим гостям с начала до конца «Хранителя древ-

ностей», читал по главам и тот роман, над которым и сейчас работаю вот уже третий год. Были у меня и иностранцы, и мои переводчики, и профессора, так что эта фраза прежде всего характеризует самого доносчика. Это, кажется, Чехов сказал: «Высшее образование развивает все способности, в том числе и глупость».

Очень интересна и следующая фраза: «У Домбровского бывала гражданка, высланная из Москвы за тунеядство. Она несколько раз из места высылки просила послать ей денег, но Домбровский, боясь общественности, ничего не посылал».

Тут он с запарки преувеличил, конечно, не только мою трусость, но и мою невиновность. Посылать я посылал, и не раз, об этом можно спросить ее, она вернулась. Но ведь это значит, что и до моей переписки, до запечатанных писем доходили шустрые руки какого-то правдолюба или любителя литературных бесед. В общем, никакими иными словами, кроме доноса, это произведение не назовешь. Оно и составлено согласно всем канонам этого вида литературы («Хранить вечно» — пишется о них на папках). Это еще не само показание, а только творческая заявка на чью-то голову. В этом такая железная логика: «Я располагаю. Вот мой товар. Смотрите. Оценивайте. Вызовите — я покажу. Что вам надо, то я и покажу. Скажете так писать — я так напишу, скажете эдак — я эдак напишу. Недоразумений не будет».

Оперативники моего времени обожали и уважали именно такую форму заявок. Сразу видно скромного и дисциплинированного человека. С таким можно делать дела.

О литературе не говорит — так о чем же? Подробно, не торопясь, с примерами — кого ругает, кого хвалит, что говорит.

Или вот, например:

«Домбровский часто отдает свою комнату приезжим из других городов».

Боже мой, да в этой фразе целое богатство! Сколько узоров здесь можно вышить: пускает на квартиру спекулянтов (колхозный рынок рядом), укрывает беспаспортных, заводит притон разврата, живет на нетрудовой доход, спекулирует площадью и т.д. и т.д. Почему же прокурор не заинтересовался, не проверил хоть это обвинение — не узнал, кого же я пускал? Для чего?

Еще обвинение: «Однажды привел к себе в комнату неизвестного мужчину, который и жил у него три дня».

Жил он у меня, положим, не три дня, а всего провел одну ночь, но, кажется, на том свете мне за эту ночь многое простится. В декабре или январе я подобрал на нижней площадке нашей лестницы мужчину. Он лежал, раскинув руки, на нем был легкий плащ, и мне показалось, он даже и не дышит. Потом я понял, что он страшно, патологически пьян. Что оставалось делать? Мороз был дикий, трескучий. На плечах я его дотащил до третьего этажа. Он не издавал ни звука. Я положил его на диван. Сам лег на полу. С половины ночи он начал бредить и просыпаться. Утром пришел в себя. Я несколько раз выносил за ним таз. Потом поил чаем. Часов в пять он смог пойти домой. Оказалось, что это один из следственных работников прокуратуры. Была, как говорится, «семейная драма», он поругался с женой, стукнул дверь и ушел. Взял все деньги, напился в ресторане. Часов в одиннадцать его выставили. Не подвернись случайно я, он, конечно, отморозил бы себе легкие (и выпотрошили бы его еще за милую душу — деньги почему-то все оказались при нем). Но как на меня накинулись утром, когда узнали, что я кого-то привел с парадного. «Писатель, а такой дурак», — сказали мне. «Да ведь он бы замерз», — сказал я им. «И черт с ним, — ответили мне. — Пусть пьет меньше». — «Ну, дорогие женщины, — ответил я. — Если бы это случилось с вашим мужем, вы бы, конечно, сказали ему, когда бы он проспался: хорошо, что еще нашелся один умный человек, а то так бы и издох ты на лестнице». С этим как будто бы и согласились, но, как я уже говорил, чужая жизнь в нашей квартире и в грош не ценится.

Что писать обо всем остальном? Донос создавала опытная и, сразу видно, натренированная в таких делах рука. Ни одного конкретного обвинения, все туманные формулы и многозначительные подмигивающие фразы, но смысл — крик души старого доносчика. «Да заинтересуйтесь же! Я располагаю. Недоразумений не будет — сговоримся».

А вообще-то такая бумажка хранится про запас. Для нового дела. Ну хотя бы как характеристика. Могу поручиться, мой следующий — шестой — следовательно эту бумажку будет ценить на вес золота. И никакие отводы тут не помогут. Она есть! Все!

Но неужели прокурор не понял, что такое подшито к делу? Неужели у него не возникло желания поговорить со мной, спросить, что все это значит, хотя бы просто поглядеть, что я за злодей. Ведь не так уж часто в нашей стране писателя сажают за хулиганство. Неужели для него моя

личность была ясна при одном перебрасывании листов дела, а моя просьба о вызове свидетелей, рассказ о том, как резали женщину, он счел не заслуживающими внимания? Что-то плохо представляю я себе таких прокуроров! Неужели с хулиганством можно бороться таким образом?

Я хотел написать о судье Милютиной, но теперь, подходя к концу моей докладной, вижу, что это дело особое и говорить о нем надо тоже особо. В одной строчке я уже сказал, в чем его суть, — это всецело гражданский процесс. А коротко, дело в том, что судья Милютина присудила меня к выплате аванса и возмещению убытка за изготовление подстрочника, потому что я как будто бы не выполнил договор и не представил русский текст того романа, который был обязан перевести.

А между тем договор я выполнил, роман перевел и сдал в издательство. Вот расписки у секретаря отдела только не взял. Но ведь никто из писателей никогда таких расписок не берет. Я представил все доказательства этого — вплоть до заявления автора (того самого Шашкина, о котором я уже упомянул). Сдача рукописи происходила при нем. Я требовал выписки из книги учета договорных рукописей, приобщения писем, приобщения этого свидетельства автора. Ни одно мое ходатайство Милютиной не удовлетворено. Книга сейчас издается. В общем, история сверхбезобразная, но сейчас меня интересует совсем другое. Я думаю о том радостном возгласе милиционера: «Домбровский, ты знаешь Милютину? Ну, получишь десяток суток, поздравляю». Но ведь Милютина моего дела не знала, со мной не говорила, меня не судила. И все-таки предсказание милиционера сбылось с астрономической точностью. Значит, на Кочетову я, пожалуй, зря и сержусь. Я был осужден до разговора с ней — Милютиной. Просто, вероятно, она позвонила по телефону и сказала: «А дай-ка ему столько-то». И все это делается открыто, на виду, не таясь, что тут таить? Милиционер свой человек, а Домбровский и не человек даже, а подсудимый. Что с ним ни сделают, все будет хорошо. Решение выносится без свидетелей, без обжалования. Что и с кого здесь он потребует?

Товарищи писатели, дорогие коллеги мои, мне кажется, что нетерпимость всего этого переходит уже всякие рамки. Будет плохо, если мы и тут смолчим. Мы же писатели, и с нас спросят справедливее, суровее и больше, чем с кого-

либо. Мы должны быть готовы к этому ответу. Я понял это особенно четко, когда прочел письмо одного читателя, опубликованное в «Казахстанской правде». Вот что пишет некий электротехник Г.Володин автору фельетона «Мужчины с неразборчивыми фамилиями» В.Костиной. В этом фельетоне мужчины обвиняются в том, что в уличных стычках они не всегда проявляют достаточно храбрости. Боятся хулиганов. Не защищают женщин. Совершенно справедливо. Бегут мужчины от греха подальше. Но ведь, товарищи, прав и автор:

«Если бы вы были мужчиной, то и не иронизировали бы над мужским достоинством, ибо оно уже давно задушено там, где «пьяные мозгляки», терроризирующие окружающих, остаются пострадавшими, а благородные поступки честных мужчин, направленные даже на защиту «слабого пола», наказуются по всей строгости закона... Поставить вопрос о некоторых несправедливостях в законодательстве вы побоялись» (№ 126 от 26 июня).

Это грубо, конечно, но это правильно. Я испытал это на своей шкуре и по мере своих сил и способностей изложил, как это вышло. Надо бороться с хулиганством, это безотложная наша задача, но голова и тут нужна, и честность тоже. Нельзя давать милиции или суду скрываться за колонками статистических сводок. Надо ловить преступников, а не тащить за шиворот обывателей. Каждое несправедливое осуждение не только покрывает собой невыявленного преступника, но и родит еще нового, уже не верящего ни во что, и скоро мы задохнемся от открытого дневного бандитизма. Ведь это не шутка, что в Иркутске за последние годы (а ведь это были годы «борьбы») детская преступность увеличилась, по милицейским данным, в восемь, а по судебным — в шесть раз. Шестьсот и восемьсот процентов — что у нас растет так?

В Алма-Ате преступность выросла на 30 процентов. Две тысячи четыреста дел на учащихся средних школ, заведенных только в одном городе. В статистике преступлений только четыре процента приходится на сельские местности, девяносто шесть процентов составляет город. Подумайте об этом, товарищи.

Я написал о себе, но совсем, совсем неважно, что это случилось со мной. Я, в конце концов, не умер. Вот сижу и печатаю эту записку, а болезни, что нашли у меня, верно, уже были давно (вот тут, кажется, я немного покривил душой перед судьей Кочетовой), только я их не замечал.

В общем, все это пустяки. Важно другое. Настоящее хулиганство — страшный враг (потому что оно уже и не хулиганство, если оно настоящее), и с ним надо бороться, но бороться осознанно, планомерно, умело, законно — не толчками и спазмами. Бороться, уничтожая преступление, но не рождая преступника. Совесть — орудие производства судьи. Это основное. А наши столы: кухонные, милицейские, судебные — часто только и делают, что преступления поставляют. В римском праве была статья, карающая «за оскорбление величия народа». За это полагалась смерть. (Потом, в 15 году по Р. Х., величие народа перенесли на Вождя народа (Тиберию), и республика умерла — началась империя.)

Есть ли в нашем законодательстве что-то подобное по отношению к закону? Карают ли за его профанацию? За его умаление? За обман? За собак, сданных вместо волков? За волков, выданных за собак и оставленных на воле? Думает ли кто в нашей стране о культуре суда? Вот о чем я хотел бы спросить наши органы — судебные, следственные, административные и общественные. За разрешением этого вопроса я и обращаюсь к вам, товарищи писатели. А примеров, кроме приведенных здесь, вы и сами знаете достаточно!

С благодарностью за внимание *Ю. Домбровский*.

Члену ЦК КПСС Аристову А.Г.
от писателя
Домбровского Юрия Осиповича,
Москва Г-34, пер. Островского,
д. 14, кв. 5. Тел. Б-6-81-89

Докладная записка

Обращаюсь к Вам по вопросу хотя и личному, но имеющему также большое принципиальное значение.

О себе и о том, что у меня за дело, я напишу в конце этой докладной и очень коротко, так как суть, конечно, все-таки совсем не во мне.

Я хочу спросить Вас, почему Генеральная Прокуратура, просматривая в надзорном порядке наши дела — дела лиц, осужденных по ст. 58, так категорически отвергает всякую возможность нашего личного участия в этом пересмотре.

Ведь до сих пор все наши просьбы о личном вызове, о даче показаний, все попытки что-то объяснить, дополнить, исходатайствовать — наталкивались на молчаливый отказ. Если заинтересованное лицо и вызовут в Генпрокуратуру, то никак не к практическому работнику, разбирающему его претензии, и никак не для выяснения какой-либо неясности, а разве только для того, чтобы выслушать жалобу.

Правильно ли это?

Мне думается, что, безусловно, нет!

Политические дела периода 1937 — 1953 гг. (а в громадном большинстве случаев речь идет именно об этих делах) велись — как общее правило и в лучшем случае — недопу-

стимо неряшливо, в худшем же — представляли просто голую фальсификацию.

Нужно, однако, учесть, что внешняя форма делопроизводства нарушалась совсем не так часто и поэтому разобратся в такой фальшивке далеко не просто. А при той, поистине гигантской работе по восстановлению справедливости, которую выполняют Генпрокуратура и Прокуратуры союзных республик, это иногда и вообще невозможно: для этого нет ни времени, ни работников.

И вот в ряде случаев Прокуратура, просматривая дело и исходя только из его материалов, шлет отказы — один, другой, третий, а потом вдруг реабилитирует человека. Такие дела часто делятся годами и переживают реабилитируемого.

А между тем часовой разговор, несколько четко поставленных вопросов, и все, может быть, приняло бы совсем другое течение.

Особенно, конечно, это относится к делам Особого совещания, не имеющим такой важной и, пожалуй, даже основной части делопроизводства, как судебное следствие.

Между тем внешняя сторона этих дел, предназначенных для Москвы, соблюдалась всегда достаточно строго.

Конечно, мы — жалобщики — пишем жалобы и указываем на все то конкретное, на что вообще в состоянии указать; конечно, эти жалобы принимаются, собираются и хранятся в надзорном деле, но ведь надо учитывать и то, что далеко не всякий знает свое следственное дело полностью, не все он помнит и не все было в листах дела, когда он его подписывал. Да и может ли всякий подсудимый знать, что данный прокурорский работник и в данное время считает наиболее важным или, наоборот, наиболее сомнительным?

Для этого нужны прямые вопросы и прямые ответы.

А этого-то как раз прокуратура почему-то избегает.

Заинтересованное лицо часто находится в самом здании прокуратуры и обрывает все телефоны, но прокурорскому работнику, разбирающему его дело, говорить с ним не о чем.

Это пожелание — личный вызов — относится, конечно, ко всем категориям дел по ст. 58, но для лиц, осужденных по п. 10 этой статьи, т.е. за приписываемые им антисоветские высказывания, он просто необходим. И понятно почему: здесь чаще всего никаких материальных доказательств преступления у следствия не было, да и не могло быть.

Их заменили показания свидетелей. И примерно в 90% они касались разговоров наедине.

Слов нет, это вообще крайне скользкий путь доказательств, но в принципе возражать против него все-таки не приходится. Тут все дело, очевидно, в анализе достоверности, т.е. в четком выяснении, кто показывает, почему и когда он это показывает. Выяснить все это — положительно необходимо.

Как забыть, что бериевская компания, терроризируя одних, развязала самые темные, антисоциальные и даже античеловеческие инстинкты у других, что масса людей, не имеющих гражданского мужества и моральной стойкости (в особенности т.н. «запятнанные» и «бывшие»), пали жертвами этой компании.

Вольно или совсем невольно, спасая иногда самих себя или зарабатывая капитал, они стали клеветниками и лже-свидетелями и теперь уверены, что обратного пути им нет. Они боятся и закона, и мести реабилитированного, и общественного мнения, и партответственности.

Поэтому часть их остается и будет упорно оставаться при своих прежних показаниях, насколько они их знают и еще помнят (кстати, у лжи действительно короткие ноги: знают и помнят они их далеко не всегда и далеко не точно. Часто для выяснения истины достаточно заставить такого свидетеля повторить то, что он говорил раньше, и попросить объяснить появившиеся противоречия).

К их числу надо прибавить вралей, профессиональных сплетников и клеветников, хронических алкоголиков, просто невменяемых — одним словом, людей, безграничная способность которых все перевернуть и домысливать, превращать муху в слона, — широко известны всем окружающим, но именно по этому признаку они и были желанными гостями в некоторых следственных кабинетах.

Разобраться в этом нарочитом хаосе, конечно, нелегко. Очень многое здесь зависит от профессиональных качеств, от чутья и добросовестности прокурорского работника, но еще больше дала бы четкая проверка всех обстоятельств, изложенных в жалобе, — проверка не только достоверности оспариваемых показаний, но и выяснение способности свидетеля трезво воспринимать, запоминать и оценивать события.

Конечно, не личность свидетеля должен взвешивать и оценивать следователь, а только его способность свидетель-

ствовать, если ответчик эту способность у него мотивированно оспаривает.

А как пройти мимо таких заявлений ответчиков, как: «Я с этим лицом был незнаком вообще и поэтому не мог с ним разговаривать», «Все могут засвидетельствовать, что я со свидетелем ни о чем, кроме служебных дел, не говорил», «Я сказал не это, а вот что и сошлюсь на таких-то», «Я в это время и в городе не был, проверьте...» и т.п.

До сих пор никто на такие заявления внимания не обращал и ничего не проверял.

Происходит все это потому, что любое (иногда нелепейшее по существу) свидетельское показание и до сих пор продолжает иметь в глазах прокурорского надзора абстрактную и абсолютную ценность, замкнутую в самой себе и не зависимую от личности автора.

А два-три таких однотипных и согласованных показания (а чтобы они были однотипны и согласованны, об этом в свое время позаботились и следователь, и начальник следственного отдела, из-под пера которых вообще и вышло дело) механически приобретают в глазах прокуратуры силу неопровержимого юридического доказательства и неминуемо ведут к отклонению жалобы как «необоснованной».

К лицу ли в 1956 году этот упорный бумажный фетишизм? Это уважение к форме, которая никакого реального содержания не имеет и ровно ничего не отражает?!

Но кроме прямых оговоров (явления, в общем, не столь уж частого) в каждом фальсифицированном политическом деле наличествуют обязательно следующие элементы:

I. Самооговоры

Причина их появления слишком понятна. Здесь стоит только заметить, что «признания» составлялись с точной согласованностью со всеми другими материалами дела. Если нужно было, они переписывались и подгонялись по несколько раз, и поэтому проверять их другими свидетельскими показаниями — невозможно. Они и есть эти другие показания, но перефразированные.

II. Безличность в формулировке преступления

Обвиняемый уличается в: «опошлении советской действительности», «охаивании мероприятий партии и правительства», «восхвалении капиталистических порядков», в том, что он «пытался доказать (доказывал) преимущества капиталистического строя перед советским», «распространял

антисоветские измышления», «вел антисоветские разговоры», «клеветал на...», «хулил вождя» (рюминский словарь не богат, и я исчерпал едва ли не все основные формулировки по ст. 58-10). Для осуждения и этого в ту пору было достаточно, но разве не ясно, что такая запись — не показание, а самовольная экспертная оценка следователем каких-то разговоров, содержание которых более точно неизвестно.

По-моему, самое появление в листах дела такой обвинительной туманности показывает, что у следователя в руках ровно ничего не было.

III. Произвольная запись

До лиц, ныне разбирающих дела, любые показания доходят только в записи, в редакции и осмысливании следователя, ибо свидетель готов был подписать любую их редакцию, только бы поскорее уйти.

Такая следовательская редакция преследовала:

- 1) Превратить любое высказывание подсудимого в явно преступное.
- 2) Согласовывать его высказывания:
 - а) с самооговором;
 - б) с материалами оперативного дела, всегда известными следователю.

IV. Навязывание свидетелю криминальной характеристики личности подсудимого

Делалось это так. Свидетеля спрашивали: «Знаете ли вы такого-то как советского человека?» У кого в кабинете следователя в тот период повернулся бы язык сказать про арестованного или подлежащего аресту (а об этом давали понять сразу), что данный «враг народа» на самом деле честный советский человек? Почти все были убеждены, что ответить так — значит сесть рядом с арестованным, а поэтому отвечали уклончиво: «Нет, он не советский человек», «не вполне советский человек».

Тогда следователь определял: «Если не советский, то значит, антисоветский — третьего не дано», — и заносил в протокол: «Знаю такого-то как антисоветского человека». Этим началом определялись весь дальнейший ход и характер показаний.

Свидетель был уже деморализован и не возражал против любой редакции своих показаний.

V. Фальсификация материалов очных ставок

Здесь злоупотреблений было не менее, чем везде.

Материалы очных ставок, как правило, никогда не соответствовали тому, что реально происходило в кабинете следователя. Ни прокурор, ни работник МГБ из соседнего кабинета — понятой — не мешали самой безудержной фальсификации: очника всегда наталкивали, поправляли, направляли, а чаще всего просто-напросто абзац за абзацем списывали в протокол очной ставки материалы прошлого допроса. Причем возражения подсудимого оглуплялись до того, что нельзя было понять, о чем же он говорил. Чаще же всего их вообще не протоколировали.

Если же подследственный прижимал очника к стене, следователь немедленно приходил к тому на помощь. В протоколе очной ставки вдруг появлялось стереотипное «остаюсь при своих прежних показаниях», и этим закрывалось все.

VI. Выбор свидетелей

Свидетель, показывающий что-то в пользу подследственного, немедленно исчезал из «дела». Точно так же изымались и все обстоятельства, оправдывающие подследственного или говорящие в его пользу, или обнажающие с какой-либо стороны шаткость обвинительной концепции.

Если же протокол данного свидетеля был уже положительно необходим, он составлялся заново, уже без неудобных для следствия моментов (они объявлялись «не имеющими отношения к делу», «излишними»), и подписывался свидетелем вторично.

* * *

Таковы 6 основных следственных подлогов.

На основании двадцатилетнего опыта я утверждаю, что любое дутое политическое дело создано при помощи одного, при помощи двух, трех, а чаще всего всех 6 подлогов.

Все надзорные жалобы будут указывать именно на эти виды фальсификаций.

Есть подлоги грубые, есть подлоги искусные; наряду с делами, сколоченными кое-как, разоблачить которые нетрудно уже при беглом чтении, попадаютя подделки, сделанные технически очень грамотно.

Не надо забывать, что «дело» всегда представляет собой согласованное целое. Оно создано единой преступной волей

и преследует только определенную цель. Вот эта мнимая стройность и вводит в заблуждение иногда и очень опытного работника. И в таких случаях разговор следователя с жалобщиком просто необходим.

Но вести такой разговор надо очень конкретно, с делом в руках надо спрашивать и давать возможность отвечать и доказывать. Такой разговор либо очень быстро покажет необоснованность претензий жалобщика, либо наметит конкретные пути для их проверки.

Что удерживает спецпрокуратуру от такого пути? Время? Но понятно, что времени потребуется не больше, а много меньше. Следственная тайна? Но она уже давно не тайна! Для подследственного, во всяком случае!

Вняты прокуратуру и прокуроров, клянут бесчувственность чиновников и бюрократизм судей. Но, по-моему, беда тут в самом характере, в природе пересмотра. Это — надзорный пересмотр, поэтому и формы его особые, кабинетные: все сводится, по существу, к чтению и формальному анализу листов дела.

Правильно ли, что надзорный пересмотр дела таков? В принципе — да, безусловно. Прокурорский протест в обычное время по обычному делу при нормальном суде первой инстанции — действие чрезвычайное и исключительное.

Но ведь не то происходит сейчас!!! Как же закрыть глаза на то, что надзорный протест сейчас является единственной формой восстановления юридической справедливости, что функции и следователя, и судьи, и прокурора возложены на одни и те же плечи.

А произошло это потому, что у подсудимого в свое время были отняты все его права и ни суд, ни прокуратура помочь ему тогда не могли.

Но раз это так, разве не следует начать с восстановления этих прав, хотя бы в какой-то их основной части, и прежде всего выслушать жалобщика, задать ему вопросы и разрешить на них ответить и говорить в свое оправдание! Стоит ли сейчас слепо хвататься за классические процессуальные формы и категории, если признано, что в настоящее время имеешь дело с ненормальным делопроизводством и ненормальной работой судов?

Не следует ли именно здесь проявить гибкость и установить такую надзорную практику, которая была бы применима к спецделам известного Вам периода?

Форма тут не пострадает, а советское общество и люди очень выиграют.

Почему я это пишу и какое имею право обобщать и советовать? Мне кажется, что право на это я имею. Я имел возможность хорошо изучить вопрос и поэтому знаю все то, о чем пишу.

В течение 20 лет (с 1936 года!) я трижды арестовывался органами ГБ все одного и того же города (Алма-Ата), все по одной и той же статье и тому же самому пункту (58-10).

Все три моих дела опротестованы прокуратурой и судом.

Два из них прекращены полностью; третье (по-моему, самое дикое) опротестовано частично. Я просил о справедливости, а мне оказали снисхождение и отпустили. Я подал жалобу на эту половинчатость, и Генпрокуратура Союза предписала Прокуратуре Республики пересмотреть третье мое дело еще раз. И вот свыше 18 месяцев (с июля 1954 года!) длится это глупое дело, и конца ему не видно. И ни разу никто не согласился меня принять и выслушать, хотя дело было в Москве и я стучался во все двери прокуратуры.

За эти 20 лет я ни разу не был виноват даже в простой неосторожности или оговорке — меня отучили их делать! — но и доказать следствию за эти 20 лет я ничего не сумел, да и что, по существу, было доказывать? Даже и говорить было нечего, потому что следователи знали все лучше меня и старались только, чтобы я не мешался при оформлении еще одного пункта 10, еще одного дела. Но я мешал, и меня пытали — я ничего и никого не оговорил, и меня, как неисправимого («Он никогда не сознается!»), засунули в самые дальние и черные углы: так, я был на Колыме, на Дальнем Востоке и под конец — в страшном Тайшетском Озерлаге.

Там я видел таких же, как я — не взявших на себя ничего, — и людей, сознавшихся в чем угодно и закопавших сотни. По их просьбе и от их имени я написал, вероятно, не одну сотню жалоб.

Я разговаривал с однодельцами и сличал их показания, выяснял истину. Я говорил со следователями и бывшими прокурорами, с бывшими крупными работниками — участниками больших «групп» и процессов, с профессорами и людьми азбучно неграмотными. Я знаю дела 1937 — 1938 гг., дела 1945 г., дела 1948 — 1953 гг. Из всего этого бесконечного разнообразия у меня создалось единое четкое впечатление — о нем я сейчас и пишу.

Я не адвокат и не прокурор, я только бывший член Союза советских писателей, человек, который кое-что обе-

щал, но которому так и не дали ничего сделать. (В прошлых жалобах, в том числе и в жалобе КПК КПСС, ответ № 29 от 4.XI.55 г., я подробно писал о себе и поэтому не повторяюсь.)

В течение этих 20 лет я хотел понять, что же происходит: я присматривался, отсеивал случайное, выделял все общее и типичное. И вот теперь мне понятно очень многое: я знаю не только, что такое реально — в лицо — люди рюминского типа или деятели бериевской замашки, но понимаю и то, почему всякая следственная инстанция неминуемо станет на путь кровавых авантур и антигосударственных подлогов, как только она сбросит с себя прокурорский надзор и пренебрежет священными правами обвиняемого.

Сейчас это поняли все; но если мне понятно, почему закон был нарушен так долго, так страшно и кто в этом был кровно заинтересован, то почему и сейчас прокуратура («полностью восстановленная в своих правах»!) действует так медленно, делает так мало, создает у себя такие очереди, когда ей легко действовать и быстро, и эффективно, — мне все-таки понять трудно.

Восстанавливать справедливость, возвращать советскому обществу хорошего и нужного человека — это ведь такая большая радость, а все идет косо, медленно, канцелярски равнодушно и безразлично. И это равнодушие идет ногу с реабилитацией или вдруг выпускает такие издевательски-скрупулезные постановления: «Снять пункт 11, оставить пункт 10, срок наказания оставить прежний — 10 лет». Как тут не вспомнить Ленина — «По форме все правильно, а по существу издевательство».

Но я знаю и еще более характерный случай: человека вызвали для переследствия из Тайшета в Москву (значит, возили 7 000 км); перевезли, посадили в следственную тюрьму, продержали две недели, да и отправили обратно. И никто его не вызвал, никто его не спрашивал — просто зачитали ему через тюремную администрацию бумагу о переквалификации статьи (58-10 и 58-8 через 17 на 58-10 — за агитацию) и соответствующем с этим снижении срока — вот и все. А человек только об одном и молил: «Вызовите меня, спросите, а потом поступайте, как хотите» (дело А.Оганезова).

И вот мне кажется, что основной порок всех пересмотров — это оторванность жалобы от жалобщика, замена человека папкой его дела.

Иными словами, сидит в лагере или ходит по Москве (а это существенной разницы не составляет) осужденный за антисоветскую агитацию какой-нибудь гражданин (скажем — Домбровский) и требует реабилитации, а у прокурора на столе лежит его двойник — дело Домбровского, осужденного за антисоветскую агитацию. Никакого реального отношения его дело к живому Домбровскому не имеет, но оно составлено по точным инструкциям директивных органов госбезопасности и поэтому выглядит страшно.

И вот по материалам дела об этом Домбровском — контрреволюционере, умелом и ловком враге — и решается судьба настоящего, живого Домбровского, который даже и точного понятия не имеет о том, как выглядит его страшный двойник.

А происходит это опять-таки потому, что пересмотр надзорный и только надзорный. А только надзорный пересмотр сейчас явно недостаточен, ибо сущность дел, которую он затрагивает, иная, и приходится сомневаться во всех материалах от обложки до обложки, от обвинительного акта до протокола об ознакомлении с делом (знаменитая 206-я ст.).

Я думаю, Вы поймете и поверите, что совсем не одни личные соображения толкнули меня на составление этой докладной — я просто изложил те мысли, которые уже 10 лет приходят мне в голову и которые я уже не счел вправе скрыть!

1 января 1956 года

Ю. Домбровский

...Спасибо тебе за ежика, он в самом деле очень хорош, хотя напоминает гораздо больше Гоголя, чем Тургенева, — ты на нос-то посмотри. Осляти (не «тя», а «ти») службу памяти несет преисправно, и поэтому я помню тебя все время. Даже когда и не думаю о тебе, и тогда помню...

...Погода у нас, верно, препоганая, «осенний мелкий дождичек сыпет-сыпет сквозь туман», слякоть, грязюка, холод, в парадных мокрые, озябшие кошки, не хочется никуда носа показывать. Насморки. Гриппы, флюсы. Да, вспомнишь про Алма-Ату, и сразу станет на сердце светлее. И не хвали ты московские парки — а попробуй-ка посидеть там на скамейке, как мы сидели в первый вечер, — это так же невозможно, как кататься с любимой по Москве в переполненном автобусе. Все занято, засижено, забито, и на каждую аллею по милицейскому посту. Нет, алма-атинские парки ни с чем не сравнимы — только бы не начали их цивилизовывать. Ты говоришь, что на Людкиных фото² я тебе совсем не понравился, кошки сильны а я слабоват. Ну что же поделать? «Онегин, я тогда моложе и лучше, кажется, была». Ты же меня полюбила черненького. Вот я послал Вашей светлости свое сиятельство в самом чернейшем виде. Не Домбровский, а, так сказать, черный ангел пожилого возраста, который по своей безграмотности никогда не брал в

¹ Письма не датированы.

² Университетская подруга К.Ф.Турумовой-Домбровской.

руки ни перо, ни бумагу — держит то и другое на весу и думает, что он что-то напишет. Я говорил фотографу, что, мол, лучше как-нибудь иначе, — ведь вот, мол, и стол, кстати, тут же. Нет, говорит, для бессмертия нужно только так. Т.к. фотографии в бессмертии больше понимают, чем те, кого они снимают, я спорить не стал...

...Насчет грибного супа — это сообщение идет, конечно, от Людки. Я знаю, что мой суп — это самое сильное впечатление, которое я у нее оставил в душе. Да, надо будет в самом деле сходить на рынок, купить нитку грибов и сварить такой суп — кастрюли мне хватает на целую вечность. Акварели твои мне очень понравились, т. е. не эти зеленые пятна на всем протяжении листа — ели, а сумерки и закат. Да, ты права, бывают такие цвета — длится это буквально с десятков минут, но если ты случайно обратишь внимание на краски, то не забудешь долго.

Вообще все зависит от внезапности и свежести восприятия, которые ты сумела вырвать из большого, непрерывно текущего потока красок и вещей. Вот помню такое: однажды из темной одиночки (стена, стена, железная дверь, полоска окна, а сверху постоянно горящая мерзкая желтая лампочка, прямо как колба со скрюченным червяком) меня вызвали в кабинет начальника тюрьмы, и я впервые за этот год увидел в окно огромный тополь в листьях и солнечных лучах. Понимаешь, меня просто поразило — эта живая масса листьев, это невероятное богатство природы после моей скудости — ведь она не пожалела миллионы листьев — законченных, отделанных, прекрасных — для одного дерева, — и все они шуршат, движутся, живут — это было так несовместимо с 3 метрами, четырьмя стенами и двумя красками — черная и серая, — что я, когда меня о чем-то спросили, очень долго не мог ничего ответить — просто был сбит с толку этим богатством.

Тебе нравится Марина Цветаева? — вот переписываю один из первых ее стихов (1913 г.), всего в цикле три стих., выписываю два, 3-е и 2-е.

...Это уже второе или третье стихотворение, которое я тебе шлю (надеюсь, ты получила письмо с «Обезьяной» Ходасевича). Мне очень нравятся эти стихотворения 20-летней девушки. Кончила Марина плохо — повесилась с голоду и от обид во время войны. Значит, Манделштам вам не очень понравился? Это, конечно, так и должно быть — он много затрудненнее М.Ц. ...

* * *

...Ты знаешь, всякая настоящая большая идея и настоящая красота могут сказать о себе словами Евангелия: «Берегитесь... Многие придут под Моим именем и будут говорить «Это я», и многих прельстят! В этих многих говорящих «Это я» и есть страшная опасность для всякого неискушенного организма. Тут всякий маргарин пройдет за масло. Вот вкратце и приблизительно все, что я могу тебе сказать насчет ваших разговоров о друзьях и рассуждениях о Роллане. Будьте повзыскательнее и позорче, и вы сразу увидите, какая иногда пустота орет «Это я» и что за залежалый товар он продает. Я однажды нашел в лесу чугунную копилку с надежными запорами, и когда после очень долгой возни разломал ее, то оказалось, что она полна «катеньками» (сто рублей), банкнотами, стоящими теперь дешевле той бумаги, на которой они напечатаны. Но эта чугунная колода хранила их так истово и гордо, как и 40 лет тому назад, когда все это было богатством. Сколько таких копилочек ходят по свету — и все думают, что их замки и запоры хранят капитал, а открой и увидишь — это порченная гербовая бумага царя Гороха.

* * *

Был на выставке Левитана — он никогда, конечно, не был представлен в таком количестве, но впечатление неожиданное — ходил и думал: какая у него мрачная, нелюдимая, холодная, давящая природа. Заметь, нигде у него нет ни цветов, ни текучей воды. «Клейкие лепесточки» (листочки) ему просто недоступны, как недоступна радость весны, одевания, расцвета, природа его не бодрит. Весна Левитана — это весна, когда чахоточный умирает от гнилостных испарений. Вода у него тяжелая, темная, холодная. И разве захотел бы он когда-нибудь нарисовать сирень или родник в лесу? «Над вечным покоем», по-моему, самая характерная его картина — логический и эмоциональный вывод из всего его творчества.

* * *

...прости, что я так не скоро собрался ответить тебе на всех твоих котов — злых и добрых, на краски осени и «настроения». Причина тому — искал тебе письма Левитана и

воспоминания о нем — в Москве этой книжки уже нет, и я пробродил за ней два дня — ибо мне кажется, к альбому она просто необходима. Без нее Левитана не узнаешь. Сегодня наконец нашел ее и посылаю вместе с окончанием Хемингуэя и еще кое-чем. Так как тебе нравится этот бодрячок, уже лижущий валидол, но еще играющий в масонский орден (или, может быть, тоже «уже»)? Неужели и это романтика? Брр! — нет, такая вторая американская молодость меня никак не устраивает. Уж если валидол, то как писал Бенедиктов:

Не любовью согревайся
С телом обветшалым,
А плотнее одевайся
Теплым одеялом.

Знаешь, раньше были понятия, при которых эпитет «американский» обозначал нечто очень несерьезное. Ну вот, например, «американский житель» (пробирка с водой, а в ней прыгает и крутится человечек из полого стекла), «часы из американского золота» (значит, из меди), «американский бобер» (кот) и т. д. Впрочем, опять, может, я говорю не то, и тебе этот веселый покойник очень понравится.

«Принца» пришлю тебе чуть позднее (надо же украсть!) и стихи Пастернака тоже (надо зайти за ними к Эренбургу), а стихи Цветаевой переписываю, а о биографии ее я уже тебе кое-что писал.

В Гослитиздате уже несколько лет лежит ее большой однотомник, набранный и сверстаный, — и все не решаются его выпустить. Если достану что-нибудь из него — пошлю. Пока переписываю два стихотворения из своей антологии...

* * *

...Сижу и строгаю перевод, сделал довольно много, но надо ворочать, как волю, а я работаю, как лукавый раб, — уж больно воротит от всех этих литературных поделок и мучает мысль: так продать свое первородство! Черта в ступе я, конечно, не выдумаю и гомункула в колбе не выращу, но что-то порядочное сделать все-таки могу, а вот приходится стирать чужие пеленки.

У тебя в письмах ряд вопросов и сомнений насчет наших отношений и всего дальнейшего. А знаешь, моя родненькая, любовь моя хорошая, не надо их — сомнений и вопросов,

а? Все решится само собой. «Тяжкий млат, дробя стекло, кует булат». Стекло разобьется, и туда ему и дорога, а булат только станет крепче, благороднее и светлее. Отношение не морской гриб и не бактерии — его на искусственной среде не вырастишь, но зато и не остановишь в росте, если оно растет. Вероятно, так легко и просто мы не найдем друг друга, придется скакать через барьеры, но тут уж игра стоит свеч, а овчинка выделки, если есть игра и есть овчинка.

* * *

...Ну представь себе, я бы написал на своей книге так: «Моей маленькой змейке на снежной горе от любящего автора». Что бы ты мне сказала? Могла ли ты эту книжку показать хоть кому-нибудь? Разве ты не вырвала бы эту несчастную страницу, заляпанную этой пошлостью? Почему же ты совершенно иначе воспринимаешь эту же фразу и этот образ, когда он вставлен в целую систему таких же и даже еще более нетерпимых образов, фраз, оборотов?! И не Томка в этом виновата — что она талантлива, в том сомнения пока у меня нет, — а та погоня за ложной красотой и ложной значимостью, которую прививают вам всякие заезжие эстраднижки самыми разными способами. Пошлость в искусстве — это прежде всего ложь; о красоте, которая не красива, а только броско эффектна, а значит, просто вульгарна. Ложь о том, что сказано что-то хорошее, хотя ровно ничего не сказано, а только в сотый раз повторено, и повторено то, чем и бабушки уже перестали восхищаться, — только повторено с вывертом, ложь о том, что сам говорящий что-то знает, значит, и чувствует, видит, хотя он ни черта не видит, а только пользуется тем несессером с цитатами, который у него в голове...

...Лев Толстой писал, что для искусства нужно только одно: говорить правду; потому что если все остальные отрицательные качества только сверху загаживают искусство, а структура его сохраняется и под этой гадкой пленкой, то ложь разрушает всю живую ткань, все крошится и рассыпается, как сухая известка. Московские пошляки для окрепших организмов страшнее домового грибка. Они стучат, стучат, точат, точат, прокладывают свои ходы и ходики, и человек пропал на какое-то время для жизни и искусства. Ведь они выглядят, эти мастера легких жанров, — почти настоящими, они нахватааны и нагляданы, они видели на-

стоящих людей и умеют хорошо схватывать их внешность — на то они и трансформаторы. Такая поэзия мне противна, как роскошные бумажные цветы жены Иткинда¹, и ведь душа у этих кавалеров расписана такими же огромными мануфактурными розами. Ты совершенно правильно пишешь и про Грина, и про Ремарка, и про сад — это и есть твое «бытие», которое определяет твое сознание, ибо «бытие» — это моральная атмосфера эпохи, тогда как «житие» ничего не определяет у человека, если этот человек стоит дороже печного горшка. Вот в этом и все дело, а не «в странном синтезе», ибо до синтеза ни вы, ни я, никто из нас еще не дорос. Эпоха не стена — а сложный многоугольник, она имеет не две стороны, а бесконечное множество их — человек, примитивный ординар, отражает одну, чаще всего — фронтальную, сторону — стена зеленая, и он зеленый, стена белая, и он белый; человек талантливый — отражает две, три, сорок сторон эпохи, и чаще всего скрытые от глаза ординара. Но опять-таки и это невидимое отражает он как современник, а не пришелец с Марса. Причем он обладает еще стереоскопическим зрением и видит глубину там, где другие различают только белую плоскостную поверхность. И вы тоже отражаете какие-то реальные действительные стороны эпохи... И вот разница между тем, какие именно отражены стороны, и есть различие между подругами. Тот, кто вам говорит, что вы совершенно особые девушки и что вы сами не понимаете, что в вас есть, хорошо бы сделал, если бы прямо и ответил на вопрос «А что же именно есть», если он обладает таким уж рентгеноскопическим зрением и видит вас насквозь. Он и сам ведь связно ничего не скажет — вот потому я и боюсь всемирной матери пошлости — она красочна, портативна (всякую пустоту может наполнить своими гремучими, тоже пустыми чемоданами со светлыми замочками и ремешками), услужлива, величава, иногда очаровательна, как очаровательны торговцы залежалого товара. Она существует как философия, как красота, как идея, как мысль, но чаще как личность, как коммивояжер, начитавшийся отрывных календарей за целое десятилетие и альбомных стихов у всех своих знакомых поэтов. Вот так пошел Щипачев, некоторые драматурги из школы каламбуристов (у них все говорят афоризмами и высокими истинами), создатели фантастических эпоей, ав-

¹ В 1960 году скульптор Иткинд подарил Ю.О. свою работу «Иткинд в раю», а его жена — букет бумажных роз.

торы передовиц, гениальный Шпанов и Дольд-Михайлик и все прочие, имен которых не упомнишь. Пошляков, так сказать, персональных ты видишь, вероятно, достаточно, много и часто, так что о них говорить нечего...

* * *

...Извини, родная, что на этот раз отвечаю с некоторым запозданием. Принялся хворать, да так усердно, что месяц не мог поднять головы с подушки. Всем переболел — и воспалением железок — с этого и началось, — лихорадкой (когда температура до 40,5) и просто гриппом, а сейчас у меня на щеке какая-то язва, название которой выговорить не могу и которую лечат кварцем. Так что письмо тебе — это первое, что я делаю после частичного возвращения к жизни. Твое «неприятное» письмо получил и прочел. Что тебе на него ответить? В Евангелии от Матфея есть такая сцена: «Когда же настал вечер, Он возлег с двенадцатью учениками и... сказал: «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Они весьма опечалились и начали говорить... «Не я ли, Господи? не я ли?..» Вот такое чувство было и у меня, когда я читал в твоём письме о том, что «самые лучшие тоже плохи и что сами они это понимают, но ничего никогда не могут сделать — слишком аморфны!». И еще «когда в этом мире бездарного появляется просто обыкновенная вещь, уже радуешься и говоришь, делая скидки: «Хорошо. Люди не от искусства уже лучше». Ну, честное слово, так и хочется закричать: «Не я ли, Господи, не я ли?» Если же дело идет о чем-то другом — то что же конкретное лежит за этими скорбными рассуждениями о ничтожности рода человеческого вообще и окружающего тебя в частности? Что тебе на все это ответить, не зная истинной причины, а значит, и характера твоего ожесточения и разочарования? Не надо быть требовательной больше, чем все остальные. Не надо очень уж здорово зависеть душевно от окружающих — они сами по себе, а ты сама по себе. (Беда, конечно, в том, что, сказав кому-то: «Ладно, мне с вами не детей крестить», это не значит еще избавить себя от такой возможности, всякое бывает, еще увидишь.) Ты знаешь, чем ты да я отличаемся от сазана или гадюки? Тем, что мы имеем свою собственную постоянную температуру крови, не зависимую от окружающей среды, — а те своего тепла не имеют, лежат на камне и сами холодны, как камень. Вот это и есть основное: иметь свою температуру, тогда чужая тебя и не

охладит, и не нагреет. Ты пишешь о вечере одного стихотворения и о том, какое впечатление произвели на тебя эти молодые петушки, старающиеся кукарекать под старых; милая, пойми, все это действительно очень смешно, но ничуть не трагично. Это еще не та пошлость, которую нужно бояться и ненавидеть пуще всего: та иногда непобедима — ибо почти неуловима. А «мы ответим — железная поступь» просто восхитительно глупо, и только. Ну есть ли тут отчего задумываться, терять голову, задавать вопросы? Поступай по Данте — «взгляни и мимо». И меньше будь «особенной», «замечательной», «не такой, как все», «взыскующей града». Все настоящие люди такие же точно, как и все мы, хотя кроме этого они и еще что-то. Но если этого «еще что-то» и нету — ну, ничего не поделаешь, — будем просто такими, как все. И это тоже очень много. И не задавай себе излишних вопросов. Очень хорошо писал Саша Черный:

А вопросы... Вопросы не знают ответа —
налетят, разожгут и исчезнут, как корь.
Соломон нам оставил два мудрых совета:
убегай от тоски и с глупцами не спорь.

Т.е. «и не оспаривай глупца». Никто и никогда еще не сумел по-настоящему ответить на вопрос «зачем». А ты спрашиваешь постоянно — зачем вечер одного стихотворения? зачем эта серость, эта бездарность, нищета мысли? Вероятнее всего, ты скажешь, что это опять-таки другой язык, но как же ему быть «тем», если я даже не знаю, о ком и о чем ты говоришь. Вообще же это письмо не может быть не чем иным, как разговором пятидесятилетнего мужчины с двадцатилетней девочкой — при всех остальных обстоятельствах он просто нелеп; ибо нелеп вопрошающий, но трижды нелеп отвечающий. Если же ты хочешь что-нибудь более серьезного — то, ради Бога, напиши, спроси, скажи все просто, ясно и четко. Вероятно, я был виноват — тебе мои письма показались сухими и прозаичными, так ведь? Любовь моя, я меньше всего склонен к излишним на бумаге... Кроме того, я все не могу найти верный тон в разговорах с тобой — поэтому не обижайся и пойми. В общем, если ты разочаровалась в чем-то — ну ничего не напишешь, не переноси это на все остальное. А переступи и ступай дальше...

* * *

...пишу тебе почти что в панике — не доходят письма, — и у тебя от этого настроение, близкое к точке замерзания. По крайней мере в письмах. Не хочется думать, что с таким настроением ты живешь, учишься и работаешь... Но если ты погружаешься в это настроение только тогда, когда садишься за стол и берешь перо, то и это уже очень печально... держи нос кверху, мы с тобой обязательно увидимся весной — иного и быть не может. И тогда уж потолкуем «о Шиллере, о дружбе, о любви». Шлю тебе взамен пропавшей бандероли новую — три книги о Левитане (в прежней посылке была из них только одна — «Письма») и монографию о Есенине. Она доброго слова не стоит: дидактична, примитивна, хрестоматийна, глуповата, велеречива и болтлива, — но, во-первых, она единственная по полноте, а во-вторых, кое-какие факты все-таки приводятся. Так, с очень большой радостью я прочел про первую жену Есенина и его сына Юрия, который «был признан одним из законных наследников». Этот сын — один из моих близких товарищей. Он был немного (года на три) моложе меня, учился в школе, писал стихи (плохие), участвовал в разных кружках и литах, потом поступил в авиационный институт и оттуда пропал. Я его последний раз встречал в 1939 году. Он был тогда в возбужденном состоянии, много говорил о всяком, и я понял по этим разговорам, что ему долго не жить. Так и получилось.

* * *

...Москва вся на том же месте, такая же мокрая, хмурая, противная.

* * *

Дома застал бандероль — «Всемирная библиотека», знай наших! В этой же серии Толстой (Л. и А.), Достоевский, Твен, Т.Манн, Фейхвангер. Сзади биография, в которой сообщается, что «сейчас Домбровский работает над новым романом «Кустош». Что это за Кустош, я понятия не имею, если только не производить его от *custodio* — это по-латыни значит «стража», «охрана» — значит, будет «Хранитель». Но не знаю, так ли. В Москве говорят, что директор киностудии болван и время для нашего фильма самое подхо-

дящее. Если и будут придирки к сценарию, то только в том смысле, что он недостаточно резок. То же полностью относится и к «Хранителю». Посмотрим. На днях буду сдавать 1-ю часть. Ни Экзюпери, ни твоего любимого Ю.К. еще не видел. Застал у себя целую грудку журналов из США. Есть кое-что интересное — не интересуется ли тебя портрет Сэлинджера и номер, посвященный Фолкнеру? Если да, пришлю. Пришлю тебе «Тарусские страницы», как только получу ответ. Напишу тебе о всех прочих моих делах, только отвечай, отвечай, отвечай...

* * *

...Приходится работать денно и нощно. И я, кроме как за хлебом и к парикмахеру, никуда сбегать не могу, а ведь волка-то кормят ноги... До приезда К. (сейчас мне уж ни до кого) видел Казакова, Рысса, Коринца, Ю.Давыдова, Наровчатова, Светлова, Антокольского, Вознесенского, Винокурова, Аксенова, Дудинцева, Гладилина, Д.Самойлова, Злобина и др. Всех, кроме Ю.Казакова, с которым мы провели три вечера, — очень мельком. Со Светловым просидели, но говорить (как и всегда) было не о чем (и к тому же он перестал пить), с Наровчатовым просидели до полночи трезвые и скучные (магазины были закрыты). Винокуров подарил мне новую книгу «Слово» с трогательной надписью «Юрию Домбровскому сердечно на ваш суд мою новую книжку». Стихи и в самом деле хорошие. Четкие, ясные и с какой-то необычайностью (хотя она и заранее запланирована для стихов такого рода). Хочешь, пошлю? С Вознесенским был разговор на тему «камо грядеши?», но об этом лично. В январе буду читать «Кустоша» в Союзе, надо все переписать, привести в порядок, сдать на машинку, раздать боссам, но сейчас решительно не до машинок и боссов. К. едет на мне, как панночка на шее философа Хома — едет и взвизгивает: «Хочу емкого, весомого слова», «хочу необычайности», «хочу недосказанности», «хочу, чтоб ты заболел сценарием», — эх, дал бы я ему то, чего он хочет, да законы гостеприимства не позволяют. Кроме того, он пригрозил мне самоубийством (ты моя последняя ставка, если не выйдет картина, то... и т.д.). Посылаю тебе мой портрет, который одна поэтесса сделала во время нашей всеобщей встречи на квартире у Ю.Коринца — похож, но гнусен, правда?

Шлю тебе фотографию, подаренную мне Казаковым, — раз уж ты его так любишь, владей на здоровье, это самый

любимый его уголок, «отсюда я иду весь» — сказал он мне. Владей! Только боюсь, как бы не пропало это все — посылаю простым. Прочитай в 11 номере «Н.м.» рассказ Солоницына¹ «Один день»² — Москва сошла с ума от той части правды, которую он высказал. Только почему герой носит имя и фамилию Ивана Шухова? Я бы назвал его «Платон Каратаев в лагере». Впечатление у меня двойственное. Это, конечно, только правда, одна только правда, но никак не вся правда (так клянутся свидетели, когда их приводят к присяге на Западе). Человеческая плазма, конечно, состояла только из подобных Иванов Дмитричей, но лицо-то лагеря делали никак не они, они и там были нулями, и сказать об этом необходимо. Впрочем, мастерство автора, его писательская зрелость, точность глаза и слуха, умелость — неоспоримы. Рисунки, присланные тобой, очень хороши, лошади, конечно, особенно, и те, и другие. Как жаль только, что все это и останется в границах детства. У детей есть какая-то особая, своя зрелость и умудренность, которую мы безвозвратно и безнадежно теряем, выходя к юности...

* * *

...послал тебе бандероль. Она тяжелая, и мне пригрозили, что она может вернуться обратно. Тогда ее придется перепаковать (колпак сшит не по-колпаковски, надо его перепаковать — скажи четыре раза одним духом). Послал тебе «Тарусские страницы», сбр. «Д. п.»³, пьесы Булгакова (очень мне понравились, поэтому и посылаю) и свою «Маймунату»⁴. Будем надеяться, что все дойдет. Настроение у тебя, я вижу, квинтовое. Я сразу понял это, как только взял в руки конверт. По характеру букв понял. То ли были те конверты — великолепно написанные! — буквы огромные, ликующие, каллиграфически выведенные, а тут они сгорбились, побежали под гору, стали худыми старухами с острыми плечами и ключицами... Но ты борись с этой гадостью, не давай, чтоб она тебя обметала, как экзема, — немного кипятка и мочалкой пожестче, и все пройдет... Не такие мы уж калеки, чтоб не преодолеть те канавки, что жизнь вырыла нам на пути. Это — если разговор идет о том, что ты тут, а я там, — но вот со временем мы ничего

¹ Солженицына.

² «Один день Ивана Денисовича».

³ «День поэзии».

⁴ Роман «Обезьяна приходит за своим черепом».

уж не поделаем. Страшная сволочь это время, оно никогда почти не хватает за горло, нет, наоборот, оно делает вид, что произошло чудо — ты победил, прижал его к земле. Кощей побежден, просит пощады, лепечет всякие пошлости, вроде того, что любовь сильнее смерти, и только старый дурак поверил в это, распустил усы — так оно бьет его сзади по загривку. Вот всего этого и нам не победить, и это надо знать наперед очень четко. Все ж остальное не вопрос — пока мы оба не почувствовали конца, будем жить и петь песенки о кошечке Мурочке...

Вообще пиши мне почаще и именно в те дни, когда на душе у тебя слякоть и сеет косой серенький дождичек — когда есть живое общение — тогда все легко. Хочешь, я тебе позвоню по телефону?..

«Хранитель» пишется, и 31-го я уезжаю в Голицыно, чтобы сидеть на нем вплотную. Это Дом творчества. Как только приеду туда, напишу тебе адрес, и ты мне отвечай сейчас же. Вообще отвечай в тот же или на следующий день — возьми себе это за правило...

Насчет К.: я не особенно доволен его поведением в отношении меня (почему это не для письма — скажу лично) и высказал ему это в последний день, но сценарий ему я сделал на совесть. Главным действующим лицом в нем теперь каменная баба, что стоит возле музея. Присмотрись к ней, она, по-моему, настоящая красавица...

* * *

...Шварца я тебе посылаю и для этого специально беру его с собой в Москву. Кое-что мне в нем очень понравилось (ну прежде всего «Дракон», хотя я его читал еще не изданным, в 1946-м (Штейн¹ давал), вообще-то в больших масштабах он меня утомляет — слишком уж много в нем цукатов и засахаренного миндаля! Ты спрашиваешь, как я встречал Новый, 63-й?! Да, в общем-то, почти никак! Путевка у меня начиналась именно с 31-го, и я плюнул на все и приехал туда. Ты спрашиваешь, как творится? Да так, средственно, конечно, но все-таки что-то делаю. 1-ю книгу кончил полностью, сейчас по частям отдаю ее на машинку — две трети уже отдал, последние страницы 120 — написанные в зоне 6 этим летом, отдам на окончательную

¹ Режиссер русского театра в Алма-Ате.

перепечатку дней через пять — через неделю — один раз я уж их отпечатал и выправил. Здесь у меня комната чуть побольше нашей, с чудным видом на собачью будку и отхожие места. Много синиц и снегирей. Ходит ко мне кошечка-мурочка. Она не моя, а соседская, и провожу каждый день блаженные четверть часа, смотря на окна, как она, осторожно поднимая лапочку, раздумывая и щупая дорогу, пробирается ко мне через сугробы. У нас здесь ветрено и метельно. Стоят морозы. В Москву езжу очень изредка, ибо сейчас там в моей комнате живет мой лагерный друг — приехал из Пятигорска. Весь в полете, в кипении, в амурах, в ожиданиях, в надеждах. Очень хороший, однурукий, нелепый парень, молниеносно влюбляющийся и потом в течение целой недели таскающий в груди разбитое сердце. Ибо все его увлечения кончаются именно так. А вообще, смотря на него, я вспоминаю странную для современного слуха строчку Вяземского о молодости: «Счастливая пора — пора тоски сердечной» (это из его, по-моему, поистине гениального стихотворения «Первый снег», которое очень любил Пушкин). Коринец послал тебе кое-что из своих рождественских художественных безделушек — получила ли? Юр. Казаков послал мне в «Огоньке» рассказ, точно воспроизводящий одну из наших прогулок, когда я принес и прочел тропарь Иоанна Дамаскина «Плачу и рыдаю» — рассказ так и называется. Он помещен во втором номере «Огонька», читала ли ты его? Узнаешь ли ты кого-нибудь в «старшем косолапом, лохматом черном, со светлыми длинными волосами, который восхищен природой и любит поговорить», «который ходит по комнате в носках и выпущенной рубахе, косолапо ступает, горбится и говорит», из твоих знакомых?! Напоминают ли тебе что-нибудь такие строки: «Он говорил, говорил и забывал, в какой руке у него водка, в какой вода, останавливался, нюхал по очереди, потом вскидывал голову, произносил «Ура», смотрел длинными светлыми глазами, выпивал и опять начинал говорить». Узнаешь ли? Может быть, и нет — потому что ты никогда, конечно, не согласишься с такими строчками: «Обо всем — о войне ли, о любви, об истории говорил он длинно, убедительно, и думалось, глядя на него, что он все знает, и спорить с ним не хотелось, а хотелось слушать... и опять его хорошо, интересно было слушать, опять казалось, что все, что он говорит, — истинная правда». Ладно, это побоку, но рассказ все-таки прочти... Сегодня пойду на выставку Пиросманишвили — гениального художника, — нашего кав-

казского Анри Руссо. Его у нас еще никогда не показывали. Потом на Леже. Потом на югославских примитивистов — все это у нас в Москве экспонируется одновременно...

* * *

...5-го (т.е. позавчера) кончил 1-ю книгу «Хранителя». Свез на машинку. Ура, ура! Значит, наконец-то прочту все с начала до конца глазами! Великое дело! Насчет стихов о музыке — сейчас пришло в голову только стихотворение Н.Дементьева — молодого поэта, застрелившегося в 1932 году, «Оркестр» (в зале начался пожар, и панику прекратила «спокойная ширь оратории Баха», которую сыграл оркестр), Винокурова из сборника «Слово» («Музыка нема») и Пастернака («Мне Брамса сыграют»). Есть целый сборник — стихи 20-х годов И.Петровского «Тоска о музыке»... Сажусь дописывать новые главы «Хранителя».

* * *

...Роман я сдал. Читают. Для меня уже выяснилась необходимость ряда переделок и доделок — часть из них готова, над другой ломаю голову — стоит или нет. Конечно, основное слово за читателями, вот я и жду их. Сомнений много, но есть кое-что и радостное — главное, чувство того, что на 3/4 объема 1-я книга удалась. Этого чувства у меня уже не отнимешь. Книг этих, как я теперь соображаю, будет три, а то и четыре, во всяком случае, две маловато для столь широкого замысла, — сейчас пишу главы, которые, по существу, должны бы быть в третьей книге, но пока я их вставлю в первую как отступления в будущее (лагерь). Т. мне прислал сперва бравое, потом наглое, потом заискивающее письмо — я ему ответил на все три, и он становится все тише и тише. Он начал меня водить за нос, делать дураком, чего я органически не терплю. Я ему написал об этом и предложил ему рассчитаться со мной по чести согласно договоренности. Он финтит и вертится. Деться ему все равно некуда. И деньги он мне заплатит, но иметь с ним дело сейчас мне почти органически противно. Господи, откуда у всех пошла такая манера считать меня круглым болваном?! Весь день сегодня проговорил с приехавшим из Алма-Аты одним перепуганным и зарыданным

несчастливым казахом, его направил ко мне с письмом один из братьев-писателей.

Рассказывает черт знает что. Хочет проникнуть в инстанцию. Я ему обещал сделать все, что я могу. Ушел успокоенный. Не знаю, что из всего этого выйдет — но если правда хоть половина из того, что он рассказал, — то сильно неладно в Датском королевстве, сиречь в литературе и искусстве Казахстана. Умер Теляковский! Его свояченица написала мне об этом. Умер король, да здравствует король! Умер художник — начинают жизнь его картины! Правда, климат в мире еще холодноват для таких светло- и теплолюбивых созданий, как его творения, но кто знает? Творения живут по иным законам, чем их создатели. Посмотрим!..

Карпов начал съемки по новому нашему сценарию — пишет, что доволен и все идет удачно. Я очень редко где бываю. Сажу дома. Пишу. Думаю. Раздумываю. Придумываю. Задумываю. Когда летом встретимся, расскажу. Как ты думаешь распределять лето? Напиши. И вообще пиши больше, ибо я сравнил «век нынешний и век минувший», твои письма сейчасные и прошлогодние, и мне стало грустно — неужели так мы оба сдали?

* * *

...Я почти все кончил с 1-й ч. «Х.д.». Буду в конце с.м. читать в Союзе. Посмотрим. Пошли, Боже, успеха. Нет-нет, в этих делах я совсем не воображалистый. Наоборот, труслив, как приготовишка. Беда, что я всю жизнь был добрым волчиной и не все в этой области знаю (это моя сказочка: «С своей волчихою голодной с добычею приходит волк» к волчатам, и те встречают, кричат: «Добрый вечер, папочка! Добрый вечер, мамочка!» — «Какие же вы Волки, — говорит волк, — разве у Волков может быть «добрый» вечер? Злой вечер!» — «Злой вечер, папочка, злой вечер, мамочка», — визжат волчата, подпрыгивая, и старый волк угрюмо качает головой: вот оно, домашнее воспитание — сколько еще придется повозиться). «Неумеха» — звала меня нянька, и я, верно, что-то не все умею в этой области. Ну ладно! Посмотрим! «Никогда не поздно умереть со страху», — говорит Л.И. (видишь ли?). Писал ли я тебе, что весь тираж в Польше разошелся в течение «нескольких дней» и что «успех огромный, книгу молодежь читает взахлеб, рецензии замечательные», — так пишет мне мой издатель (могу прислать

письмо). Ладно, «что сладость лучшего вина, когда оно не здесь» (это Саша Черный).

...Ардов обещает мне дать неизданный цикл А.Ахматовой, сочиненный в 37-м, а записанный только что сейчас — 25 стихотворений. Просит взамен мой цикл, но у меня ничего нет — ходят только магнитофонные записи, а у меня даже и магнитофона нет. Стоят жесточайшие морозы. Когда бегу после утреннего умывания через двор в столовую, у меня леденеют волосы. Земля трещит. Но солнца много, и все вокруг сверкает стеклянным блеском. Удивительно, что птичек много, но это не воробьи, а снегири, щеглы и синички. Они так надуваются на холоде, что сидят на бурьяне как большие мягкие шары — не то мотки шерсти, не то такие цветы. А звезды ясные-ясные, большие-пребольшие и почему-то не мерцают. Недавно я лежал на постели и вдруг увидел из окна желтый фонарик — ну, думаю, летит самолет, смотрю, нет, не двигается — оказывается, Марс, большой и желтый. А однажды я, по-моему, встретил волка. Шел ночью по лыжне через глухое и заснеженное поле, и вдруг такая длинная поджарая зверина метнулась в сторону по сугробам! Никогда я что-то не видел, чтоб собаки бежали по сугробу, может, и в самом деле волк. В такие морозы они околачиваются около людей — в лесу им не светит.

...Самое главное для тебя — быть здоровой. Это абсолютно серьезно. Ведь только здоровье меня еще держит — а так ведь до такой степени я одинок, до такой степени у меня никого нет, что даже страшно становится. Все мои отношения неверные, неустойчивые, ненадежные — а вот живу и никому не завидую и себя не жалею. Впрочем, это все же плохое настроение, а не мироощущение (обожаю такие словечки). Сейчас ночь, я засиделся, а мне пора спать. Кстати, вот последняя эпиграмма на Е.Е. ...Классика?! Ты пишешь о Грине, что, мол, разочаровалась в нем — ну что ж, может быть, так и должно быть, но ты перечитывала старое, не читала новое, неизвестное. У него есть поразительные вещи, о которых, вероятно, ты и не слышала — сборник «На облачном берегу», «Трагедия плоскогорья Суин», «Колония Ланфиер» — это самый центр его творчества, и чтоб решать, что для тебя представляет Грин сегодня, надо обязательно знать хоть с десяток подобных вещей. (А у него их больше.) Если сумею, я тебе кое-что пошлю из этого.

...О своих делах (т.е. о «Хранителе»): он перешел в последнюю, самую страшную инстанцию. После прочтения и одобрения всей редакции его читает сам Твардовский! Вчера звонил в редакцию и сказал, что читает, не отрываясь, и ему все нравится, но кто его знает дальше?! Человек он со всячинкой, и от него все можно ожидать, а две части романа очень отличаются друг от друга и по манере, и по материалу. Во всяком случае, теперь ждать уже не долго. А какую книжку, оставленную тебе, зажилил Лева (или кто?). Напиши и не зачеркивай. Я пошлю. Весь год у меня прошел в трудах и ожиданиях, в надеждах и безденежье, а это очень трудное состояние. Лева говорил, что ты ходишь на лекции в сценарную мастерскую. Правда ли это? А вообще что у тебя в жизни делается? Как встречала этот Новый, 1964-й? Когда я тебя спрашивал насчет 63-го, ты не ответила по существу. Я встречал этот год очень мирно — был я и двое Ю. К.¹, Степан Толстой, некий старичок-пенсиянер и очень мало женщин. К двум часам мы их всех проводили и остались одни (как хорошо без женщин!). Толстой пел болгарские песни, один мой тезка — немецкие, другой — русские, потом заводили магнитофон и слушали стихи и Вертинского, потом еще пили, потом встали и пошли по Москве встречать зарю. Утро было ясное, теплое, настоящая оттепель, которой никогда не бывает в Москве в январе. Да, не в пример всему остальному, климат планеты явно меняется — становится все теплее. Значит, у Томки скоро будет ребенок! Ах ты, горячее сердце, как хорошо, что ты такое. Как Лева относится к тому, что он дедушка? Сердится или умиляется? Плохо становится на душе, когда жизнь так явно и так иронически вежливо доказывает тебе твою старость. А внук — это такой аргумент, против которого уже нечего возразить. А что делаешь еще кроме летних походов за грибами и составления тематических альбомов зимой? Пишешь сценарии? Составляешь передачи? Сочиняешь детские повести с рисунками? Напиши хоть несколько слов об этом. Попытаюсь приехать весной, очень хотелось бы, чтобы к этому времени ты опять была бы дикой и свободной. Надеюсь к тому времени иметь твердо установленный график. Посылаю тебе монографию о Греко. По-

¹ Юрий Коринец и Юрий Казаков.

кажи Леве, но не давай даже почитать — это очень редкая книга...

Ах, какая вещь — «Процесс» Кафки! Ах, какая!

* * *

Отвечаю не столь быстро, как хотелось, но все-таки со скоростью, раз в пять превышающей твои обычные темпы. Сажу в Голицыно, правлю, дописываю, вычеркиваю, заменяю — в общем, готовлю к сдаче на редакционную машинку 1-ю часть (180 стр.) — материал на один номер уже сдал. Нет ничего скучнее и утомительнее этого занятия хотя бы потому, что я не знаю, не порчу ли я вещь окончательно. Она и так (м.б., от бесчисленного перечитывания и переписывания) кажется мне вялой, малодейственной и растянутой. Поэтому у меня и состояние со-от-вет-ству-ющее: тоскливое и разбитое. Ладно, это побоку: будем трепаться о вещах более известных и интересных нам обоим. Очень хочу приехать летом и увидеть тебя в цвете — к апрелю-маю это сделаю, если и запоздаю, то не намного. Вот и вся деловая часть этого письма. А у Томки, значит, дочка? Насчет фильмов 20 — 30 гг. я с тобой согласен — нет гигантов. Ходили по о. св. Маврикия гигантские бескрылые голуби дронты (или «Додо»), неуклюжие и тяжелые, как индюки. До тех пор ходили, пока голландцы не привезли свиней и те не полопали их начисто. Эйзенштейн говорил своим ученикам: «Не берите с меня пример — я начал с «Броненосца», а кончил «Грозным». Что правда, то правда, только насчет оценки Грозного я с тобой все-таки не согласен. Он как бы весь написан клюквенным соком (помнишь блоковское «истекаю клюквенным соком»?). Все крикливо, чрезмерно выразительно, а под конец похоже на какое-то гала-представление на исторический сюжет. Меры не было у Эйзенштейна, ни пластичности, ни сдержанности. Их заменяло обостренное чувство стиля, которое вне взаимодействия с другими качествами приобретало самопроизвольный рост и разрушало художественную ткань, как раковая опухоль. Он никогда не знал (или забывал?) две вещи: то, что внимание зрителя имеет определенный вольтаж и нельзя через него пропускать беспрерывно несоответственно высокие токи: перегорит ментально; а во-вторых, основной принцип для всякого искусства. Вот, скажем, художественный объем изображения А _____ С. Ни на «А», ни на «С» строить ничего нельзя,

играть надо на «В». А В ! В1 ! В2 ! В3 ! В С, «С» и «А» — это те крайние пределы, к которым возможно прибегнуть раз, да и то с крайней осторожностью. А у Эйс. среднего нету, у него либо высокий трагизм (А), либо высокий комизм-гротеск (С). За это судьба наградила его бесчисленным количеством Дим Трухиных, которые скоро разменяют его десятку на новенькие блестящие грошки. «Петр», конечно, на целый ранг, а то и два выше, в нем нет ни хлыстовской пляски опричников (но это он хотел, чтоб она была хлыстовская, а пляшут-то они, как цыганский хор в ресторане-поплавке «Чайка»), ни концертного номера артистки Бирман (я б такой «эюд» допустил бы не дальше приемного испытания в студию МХАТ). В общем, Петр — это крепкий средний фильм, который приятно — а то и поучительно — посмотреть. Вот мое простецкое, чисто потребительское мнение. Однако объясни мне, пожалуйста, что за неведомая сила потянула в сценарную студию к Л.И. В кино хочешь?.. Ладно, не сердись, кончаю. В Москве готовится сенсация. Погребение «Слова» по разряду. Некий доктор ист.наук Зимин утверждает, что он открыл величайшего поэта XVIII века архимандрита Иоила (в миру Быковского), который кроме «Слова» написал еще около 200 стихов — их Зимин тоже обнаружил. Напечатал (пока на ротаторе) труд 700 стр. в количестве 100 экз. Готовится диспут. Разгораются страсти. «Спаси нас, сила Господня!» Если тебя это интересует, я напишу подробнее. Понравился ли тебе Эль Греко? Имеется ли он у Л.И., и если нет — ни в коем случае не отдавай... Живу в той же комнате. Пишу, читаю Кафку «Процесс» — дала переводчица, выйдет ли в свет? Пиши скорее на Москву, следующее письмо тебе пошлю ровно через столько дней, через сколько придет твое...

* * *

...Сижу в своем Голицыно (столь же мне родном, что и зона б) и делаю тщетные пока потуги что-то сотворить. Я уже тебе говорил, что называется роман «Факультет ненужных вещей», вот! Знай наших!.. Комната моя такая же, как и в зоне б (только кровать одна)... Рядом со мной живет переводчица Р.Райт, делает новый роман Сэлинджера. Потом художник И.Игин, приезжает Е.В. Хороший, но самовлюбленный дядя, который лет через пять будет толстым, одышливым и слоноподобным, как Апухтин. Насчет судеб «Хра-

нителя» знаю очень немного: успех за границей и молчание тут. Читательских писем много, вот отрывки. 1) (И.Зыков. Москва): «Уважаемый Юрий Осипович! Лет 8 либо 9 я читал гоголевскую «Страшную месть» — вот натерпелся страха. С тех пор прошло почти 60 лет, и никакая книга так не пугала. А вот теперь, когда читал Вашего «Хранителя», покрывался холодным потом. Сильную вещь Вы написали, о ней будут говорить...» 2) «...Когда я читала об Аюповой, массовичке и т.д., я буквально жаждала крови. Остаться человеком в тех условиях значило быть где-то на краю героизма. Поэтому так радует Ваш роман... Теперь о Хранителе. Он так поразил меня, что даже снился. Какая незаурядная личность, какая сила духа и ясность мысли... Очень давно мы не читали ничего подобного» (Киев. Л.Нежинская)... Есть, наконец, большое и совершенно изумительное письмо профессора Н.Л.Берковского. Вот только три выдержки. «Радуюсь за Вашу удачу, роман по-настоящему хорош не как сенсация, а как литература. Конечно, Вы пошли на большой риск чрезмерно затянутых темпов, огромных диспропорций, количественных разрывов между главным и неглавным (в пользу неглавного) и победили тем не менее... В Вашем романе по таинственному инстинкту наука, ютящаяся на ярусах и в подвалах храма-музея, породнилась с оккультным бешенством следственных и других дознающих инстанций. Мне кажется, более всего захватывает в нем, делает его романом Века, а не только одного описанного в нем десятилетия, именно это двойственное пламя: научного создания и все преодолевающей черной веры в дьявола. Вообще в романе Вашем, как и во всяком настоящем искусстве, сюжетные связи, последовательность событий — повод для других связей, идущих в любые стороны. Ваши музейщики хранят в своих коллекциях историю и археологию. Они копают и докапываются до темнейших страниц; обнаруживается сквозной подземный ход от зверств страшной древности до времен самоновейших; прекрасны последние страницы, последняя алма-атинская ночь. Эти страницы — поэзия в характере «Страшной мести». Вы у нас писатель особенный...» Смотри, как интересно — двум совершенно разным людям приходит в голову одна и та же параллель со «Страшной местью».

За яблоки спасибо огромное. Ведь в Москве до сих пор мои друзья знали их только по моим описаниям. Вышло поистине прекрасное издание «Хранителя» в Праге с интереснейшими иллюстрациями. Так как завтра в гостях у

меня будет переводчик и обещал принести еще один экз., то пришлю его Рубинштейну, а передать попрошу тебя (если не оставишь у себя), так же как и статью обо мне, выпущенную на русском языке в отдельном оттиске некоего Flaker из научного журнала Rusistika, XI, I (1966), кажется, международное издание. Не знаю, писал ли тебе, что в начале того года или в конце этого какие-то главы из книги будут печататься в журнале Сартра (т.е. уже напечатаны), какие именно — не знаю, кроме одного большого куска: это начало 2-й части. Его мне показали. Сказал об этом Жан Катала. По рекламе знаю, что выходит «Хранитель» в США и в Англии (редакция послала туда книги). «Загудело, зашумело, закрутилось колесо».

Теперь обо всем остальном: ну, обстановку ты мою примерно представляешь. Так все то же, все так же, все на том же месте. Варианты очень незначительны, эх, «хорошо бы собаку завести»¹, да опять правила не позволяют. «Правила внутреннего распорядка». Было недавно у нас ЧП — убили (топором перерубили поперек, представляешь?) первого мужа моей жилички справа, Генку. До этого он за десять минут был у нас, рвался ко мне, но я сидел с К., а Генка был сильно пьян, буен, и ему сказали, что меня нет дома. Хотел видеть свою бывшую жену, сказали — спит. Вот он и ушел. А через десяток минут его убили. Таскали всех (и даже К.), только я не пошел: сказал, что мне с ними говорить не о чем и ни на какой вызов я не приду. Зато потом мне было очень скверно — ведь парень хотел видеть меня, рвался, а его не пустили, и я, больной, в два дня написал рассказ (примерно стр. 30) «Одна смерть». Если хочешь, пришлю. Можно ли будет напечатать, не знаю — ибо «в стиле Домбровского есть кое-что от старинных рисовальщиков, мастеров гротеска, сочетающих «фактографию» с чудовищным видением мира. Однако без апокалипсиса... Именно в противоречиях между фактографией и гротеском, в противоречии между гротескными нелепостями мира и целостным видением рассказчика заключается сила нового явления в советской прозе — Юрий Домбровский. Писателя вполне современного, такого, который верит в Человека, в его чувства, разум и в возможность преодоления все еще существующих нелепостей». Это Flaker. Выдержит ли все это наша печатная бумага, не знаю, ибо за всей

¹ Затоплю я камин. Стану пить.
Хорошо бы собаку купить...

И. Бунин

нашей обыденностью, за разговорами, спорами и столами наших хозяев — и до черта не так уж далеко. В этом-то он прав, только не о том черте-то идет речь. Не о Мефистофеле. А вот

...Если постушь ночной
Проходит путник торопливо,
В ограде Спаса на Сенной
Увидит он осьмое диво:
Там, к самой паперти оттерт
Волной космического духа,
Простонародный русский черт
Скулит, почесывая ухо.

Это не мое, но хоть в эпитаф бери — так мне надоели эти черти. Убежал бы к тебе летом, да ты молчала, а значит, и бежать было не к кому и незачем.

Вот моя жизнь: позвонил машинистке, и она сказала, что может сейчас печатать, и я полетел к ней, диктовал 3 часа — ее измучил, сам измучился как пес, сейчас уже 11-й (пока приехал, пока поел, пока газеты просмотрел, пока чай вскипятил, надиктованное перечел), но так как мне завтра вставать в 9 и лететь в поликлинику, то решил все-таки продолжить письмо.

...Есть у меня интересные планы (кончать шекспировский цикл), есть договорная плановая работа («Факультет»). Есть поползновение написать одну небольшую, но острую вещь, примыкающую к шекспировскому циклу, но сугубо современную, а разброда вокруг меня (да и во мне) столько, что мне и не сообразиться.

...Из последних событий, пожалуй, следует упомянуть о выставке Пикассо. Впечатление разнобойное странное, если хочешь, чудовищное, но, конечно, совершенно незабываемое. На другой день я смотрел 4 фильма о нем — один из них (и самый интересный) наш. Ну что ж, старик как старик — лысый, круглоголовый, в толстой фуфайке, — кормил канареек, обмывает бронзовую голову какого-то антика, рисует жену (Жаклин), за ним бегут таксы. Сад у него большой, тенистый, с бульварными скамеечками, дом — некрасивый, старомодный, трехэтажный, мастерская огромная, захлавленная — в общем, старик как старик. Мне И.Г.Э.¹ вместе с набором классических ручек подарил один из 50 портретов, которые он надписал для раздачи — нечто похожее было

¹ И.Г.Эренбург.

воспроизведено на билетах, но то да не то. Книжку Сандалова¹ «Пережитое» все не могу достать, но до того, как допишу и пошлю это письмо, видимо, достану обязательно. Сейчас прерываюсь, хочу хоть немного почитать, а то устал от себя. Ну вот, хотел прерваться на день, а прошло два или три. Зашился, замучился, забегался, возьми еще с пяток «за», и все будет мало. Жрал только раз в день и то чуть не ночью — и то пельмени, не было уже сил и времени ждать. Получил неожиданное письмо от Аникста, благожелателя моих новелл, хотят их протолкнуть в «Новом мире». Я сам сговорился с «Сов. пис.», но, что будет, не знаю. Отзыв посылаю, специально перепечатав его для пересылки. Получил (через редакцию) обалдело-хамское письмо от графомана Б. Я забраковал его «Повесть о скульпторе», т.е. об Иткинде. Это 80 стр. еврейских анекдотов, хохм и вранья, и стариковского, и своего собственного, — читать это поистине невыносимо. Буду сегодня писать ему ответ. Вместе с книгами пошлю тебе два экз. пражского издания «Хр.», один отдашь Е.Л. для его подборки. Скажи ему «расстрел Маруськи»² я ему тоже вышлю, но, конечно, выбросок из романа сделано гораздо больше. Я наконец-то привел в порядок и в известность все эти места (а вдруг потребуется второе издание?). Ведь Корнилов совершенно сведен на нет этими выбросами. Его попросту нет. Нет как личности и характера, а он написан и есть в папке. Ну вот, видишь, большое письмо написал, теперь черед за тобой. Жду! будь честна и быстра. Я очень одинок сейчас. Выхожу на улицу, чтобы отправить тебе конверт, а заодно пройти по книжным магазинам...

* * *

...сидел я сегодня в библиотеке, и вдруг подходит ко мне твоя Томка — такая протяженная и худющая, что не сразу и узнал, и сказала, что через полтора часа в библиотеку придет какой-то парень, который летит в Алма-Ату. Я побежал, чтоб что-нибудь тебе купить, но, увы, было уже поздно — 7 часов, и я только зря прошел от библиотеки до Кремля и обратно... Очень хочется тебе послать две зарубежные статьи о «Хранителе» — венгерскую и итальянскую, мне их перевел. На итальянскую я буду отвечать через

¹ Дьякова.

² Эпизод из «Хранителя древностей», тогда изъятый из романа.

агентство «Новости». Что писать о себе? Сейчас уже пришел в себя и от гриппа (который тлел во мне со дня твоего отъезда), и еще от одного казуса, который мог читателя лишить второй книги «Хранителя». Я так здорово ахнулся о ступеньку Дома литераторов — что еще чуть-чуть левее, и была бы мне вечная память! Неделю ходил с таким фонарем, что маленькие останавливались и кричали: «Мама, смотри!» Но все это время я все-таки писал, и сейчас в переводе на машинку у меня собралось страниц 120 — 150, что это из себя представляет и куда это пойдет (в «Новый мир» или в сортир?), я пока совершенно не представляю; буду это знать недели через две.

А Томка твоя так и не подошла, чтобы взять письмо, и в зале я ее тоже не нашел, хотя искал... Отправлю письмо авиа. Пропадет только мой торт, что мне сейчас купили по заказу. Ладно, иду дописывать домой. Вот я и дома, сегодня 3-й день, как выхожу в большой свет. Добрые знакомые, встречаясь, радостно восклицают: «Как же вы похудели!» Это до того надоело мне, что я теперь вместо того, чтоб подробно рассказывать о своей болезни (в первые два дня я делал это очень бодро и со вкусом), вынимаю молча из кармана пятиминутку типа комсомольский билет (нашел в книге), показываю и таинственно говорю: «Вот она!» и прячу. А на фотографии что-то поистине невероятное — кривое, косое, курносое, широкоротое, лупоглазое, — и у друзей сразу загораются глаза — ну и оторвал Домбровский! Ведь человек — существо злорадствующее. Посмеяться над ближним — это такое счастье! Конечно, на эту удочку можно ловить только людей малознакомых. Окуджава послал меня к черту!

* * *

...это верно, что из разговоров по телефону получается чепуха. На какой теме¹ ты все-таки хочешь остановиться? И прошу: напиши об этом поподробнее.

Ты хочешь взять какого-нибудь поэта. Но какого? Мой совет: бери кого-нибудь из дорогих покойников, иначе запутаешься или наговоришь глупостей. Как ты смотришь на К.Случевского или К.Павлову? Над О.М.² будешь работать в частном порядке. Я уже просил общего знакомого передать

¹ Диссертации.

² О.Мандельштамом.

Надежде Яковлевне, что приведу тебя и надеюсь на ее благосклонность и покровительство. И оказывается, у нее еще есть кое-что в записке (проза). Да, чтоб не забыть — по этой же ассоциации, — очень болен Галич. А вспомнил я о нем вот в какой связи: и о Надежде Яковлевне Мандельштам, и о нем мы разговаривали с проф. Пинским на банкете. Понимаешь, мой лагерный товарищ Л.С.Гордон защищал докторскую диссертацию...

Только что ушли двое товарищей — один военный спец, другой ст. редактор Гослитиздата по отделу литературоведения. Я его очень близко знаю. Поговорили о руководителе. Я прочел начало твоего письма. Он сказал: «Это все не вопросы, пусть только решит дело там, а что она берет?» Я пожал плечами, заикнулся об О.М. и сказал, что, по-моему, это совершенно невозможно. Он ответил: «А черт их разберет, вот моя редактриса пишет диссертацию о Марине». Я сказал, что это далеко не одно и то же. Смерть в лагере — это не смерть в эвакуации. Он ответил: «Это так, но посмотрим... впрочем...» — и, помрачнев, рассказал о том, что он одобрил книгу Ин.Соловьевой об Вс.Иванове, а теперь ее приходится рассыпать. Случилось необычайное: директор и-ва опротестовал его визу. Этого еще никогда ни с ним, ни с другим не было. Главное обвинение то, что Соловьева показала, как умный, талантливый, острый писатель в середине тридцатых годов сломался. А этого показывать нельзя. «Теперь придется мне завтра писать докладную о том, что... просим разрешить списать книгу по идейным соображениям». Я ему сказал: «А какая тебе неволя писать? Ты что, гоголевская вдова, которая сама себя высекла? Ты свое сделал — выписал одобрение, директор его опротестовал. Пусть сам тогда и пишет и аргументирует, а твое дело теперь сторона». Он сказал: «А в самом деле! А ведь не пришло бы в голову! Чиновники мы все». — «В этом все и дело, — сказал я, — и если про Иванова нельзя, что культ его оскотил, то как же можно писать о том, кого культ убил? Чтоб потом вписывать в диссертацию ругательные абзацы так же, как ты это собираешься сделать завтра?»

Бессонница. Гомер. Тугие паруса.

Вот что-то не спится. Ворочался, ворочался. Стал читать Гроссмана, потом сел писать.

Сплю и вижу, чтоб уехать в Голицыно — и хоть чем-то будет это похоже на наше житье в горах. Москва мне решительно противопоказана: шум, гам, друзья, соблазны. А так я вообще очень положительный... А романы мы с тобой

писать будем, ибо, во-первых, такова наша планида, а во-вторых, это единственное, что нам полностью удастся. Так и Казаков сказал. Он сказал: «Съезжайтесь, уединяйтесь и пишите романы — это вам удастся так, как, пожалуй, никому». Отвечай мне, ради Бога, скорей!

* * *

...был страшно рад получить твое письмо: в нем все хорошо — кисаньки, стихи Коринца, настроение. Да, книга открылась тебе на нужной странице. Мне вспомнились другие строки из Маршака:

Чтобы любовь была нам дорога,
Пусть океаном станет час разлуки,
Пусть двое, выходя на берега,
Один к другому простирают руки.

Он назвал это сонетом Шекспира, но это, конечно, никакой не Шекспир: у того короче и лучше, жаль, что нет под рукой. На большое письмо я сейчас тоже не размахнусь, что-то очень много у меня неясного и незавершенного. Самое главное, однако, что я совершенно свободен, одинок и работаю. Кончаются какие-то циклы, начинаются какие-то циклы, а ты остаешься прежним, и нет тебе спасения от самого себя. Впрочем, об этом лично при встрече. А вот условия ее мне пока неясны. Трогаться мне сейчас из Москвы, по-видимому, не стоит: я стою в очереди на однокомнатную квартиру, и очередь моя близка (я — 13! — надо же выбрать такое число!). Да и оставаться мне в этой квартире, как ты понимаешь, совершенно невозможно. Значит, все зависит от того, когда это произойдет, — говорят, очень скоро, но кто их знает... За «Державина» спасибо — все мои друзья с огромным любопытством перелистывают эту диковинку. Конечно, о второй части говорить не приходится. Я сейчас строгаю «Факультет ненужных вещей» и должен думать только о нем. Конечно, отвлекаешься на всякие литературные поделки — вроде сценария, но основное — он...

Дорогая Ольга Федоровна,

и вот Вам исполнилось 55! Великое дело! Я вот никогда не думал в юности, что доживу до 30, 40, 50, 60 и доживал. И как будто ничего не менялось. Хотя, по существу, менялось абсолютно все. Поэтому я понимаю, что к радости у Вас сейчас примешивается и чувство горечи и горести. Что тут ни думай, ничего умного не выдумаешь — стареем, да! Вопрос только — как. Вот Гете считал старость самой счастливой порой своей жизни. Мне это не больно понятно — но важно, что и такой подход, значит, возможен. Я так не думаю, но мне, как человеку, который всю жизнь собирал себя (да так и не собрал), доставляет, например, некоторое чувство удовлетворения то, что я сейчас как-то наиболее приспособлен к своей работе. Еще 10, 5 лет было не так. Эта радость — работать в полную возможность — тоже очень много значит. Мне кажется, это относится и к Вам. Наиболее четко, уверенно, твердо ощущаешь себя в работе. Ведь ни Вы, ни я ничего иного не умеем, кроме как работать по своей специальности. Не будем работать — загнемся, и все. Пенсии для нас в этом случае — нет. Просто ее не может быть. 120 рублей — да, они нужны, а вот ходить по городу, по кино, по магазинам — это мы не сможем. В этом отношении я уверен, что мы очень похожи. Все мое бешенство идет оттого, что я не всегда мог работать — надо зарабатывать, а это чертовская разница! У Вас же работа и заработок совпадают — это великое счастье, и оно редко у кого бывает.

¹ Мать жены Ю. Домбровского.

Вот в этом году я все-таки, наверное, кончу (обязан!) свою работу, которую волочу уже 8 лет, и поистине вздохну свободнее. Смогу подумать и о других работах, за которые сейчас взяться не могу. Они тоже меня интересуют — но требуют отдачи полностью. У Вас же все было, есть и будет в руках. Какое великое счастье, когда про себя можно сказать с таким полным правом — как о Вас скажут друзья в Ваше пятидесятипятилетие. Так обнимаю, целую Ваши руки и поздравляю, поздравляю!

Ваш Домбровский

1972

ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

Книга стихов Юрия Осиповича Домбровского «Меня убить хотели эти суки» была полностью готова к изданию два года назад и отправлена в типографию. Но выпустить ее не хватило средств. Тем временем составитель этой книги Клара Домбровская решилась опубликовать письма Юрия Осиповича (в книгу стихов входило несколько отрывков из них). Кроме того, мы сочли нужным включить несколько рассказов и письмо Юрия Осиповича Аристову, отражающие его понимание карательной политики государства.

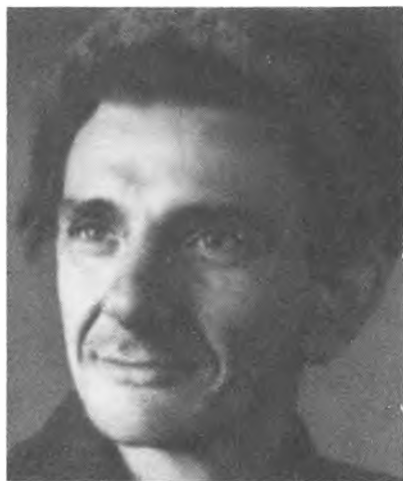
Так, без заранее намеченного плана, как бы сама собой сложилась книга, в которой Юрий Осипович предстает таким, каким знали его близкие друзья.



Юра Домбровский с няней. 1910 г.



Юра Домбровский. 1910-е годы.



Ю. Домбровский. 1946 г.



Ю. Домбровский. Начало 1956 г.

Краткая биография ЮРИЯ ДОМБРОВСКОГО

- 1909** Родился в Москве 12 мая (29 апреля).
Отец — Иосиф Витальевич Домбровский, адвокат.
Мать — Лидия Алексеевна Крайнева, биолог.
- 1932** Окончил Высшие литературные курсы.
Арестован и выслан из Москвы в Алма-Ату.
Работал в Центральном музее.
Тогда же написан роман «Державин».
- 1939** Второй арест. Срок отбывал в колымских лагерях.
- 1943** Активирован из лагеря как инвалид и вернулся в Алма-Ату.
Работал в театре; читал курс лекций по В. Шекспиру.
Начат роман «Обезьяна приходит за своим черепом».
Написана «Смуглая леди».
- 1949** Вновь арестован. Находился в заключении в Озерлаге.



Ю. Домбровский читает стихи. 1964 г.



Ю. Домбровский и В. Семин.
60-е годы



Ю. Домбровский. 1967 г.



Ю. Домбровский. 70-е годы



Клара и Юрий Домбровские. 70-е годы



Ю. Домбровский. Конец 70-х годов

Краткая биография ЮРИЯ ДОМБРОВСКОГО

- 1955** После освобождения из лагеря жил в Алма-Ате и Москве. Занимался литературной работой.
- 1961** Начат роман «Хранитель древностей».
- 1964** «Хранитель древностей» напечатан в «Новом мире».
Работал над переводами.
Начат роман «Факультет ненужных вещей».
- 1978** «Факультет ненужных вещей» напечатан на русском языке во Франции.
Скончался в Москве 29 мая.

СОДЕРЖАНИЕ

- 7 *К. Турумова (Домбровская). Запретная тетрадь*
- 10 *Из письма Кларе Турумовой (1960 г.)*
- 11 Каменный топор
- 15 «Медлительный еврей с печальными глазами...»
- 16 «Я вновь один, и есть Барон...»
- 18 Анри Руссо
- 23 *Из писем Кларе Турумовой (1961 г. и 1963 г.)*
- 24 Баллада
- 26 Реквием
- 28 Солдат — заключенной
- 31 «О, для чего ты погибала, Троя...»
- 33 «Генерал с подполковником вместе...»
- 34 «Пусть юноши не верят в серафимов...»
- 35 Амнистия
- 37 «Я не соблюдаю родительский обычай...»
- 38 Надпись на книге
- 40 Мыши
- 41 *Из письма Кларе Турумовой (1960 г.)*
- ПОЭТ И МУЗА
- 42 Державин
- 45 Веневитинов
- 48 Гнедич и Семенова
- 51 Ключников
- 54 Козлов

- 56 «Так мы забываем любимых...»
- 57 Надпись на фото
- 58 Кампанелла — палачу
- 60 «Какая злобная собака...»
- 61 Чекист
- 62 *Из письма Кларе Турумовой (10.12.60 г.)*
- 63 «Наседка»
- 65 Убит при попытке к бегству
- 67 Вступление к роману
 «Факультет ненужных вещей»
- 69 «Меня убить хотели эти суки...»
- 71 Мария Рильке
- 73 «Пока это — жизнь, и считаться...»
- 74 Утильсырье
- 76 Украденное фото
- 77 Известному поэту
- 78 «Больница. Черный каганец...»
- 79 «Есть дни — они кипят, бегут...»
- 80 Песня, которую мы пели в лагере, спалив
 Б(арак) У(силенного) Р(ежима) в 1952 году
- 83 *Из письма О.Турумовой (1972 г.)*
- 84 «Не знаю, кто меня доводит...»
- 85 *В. Шекспир. Сонет 74*
 (подстрочный перевод Ю. Домбровского)

Дополнение

ПРОЗА, ПИСЬМА

- 89 Ручка, ножка, огуречик...
- 104 Записки мелкого хулигана
- 151 Письмо члену ЦК КПСС Аристову
- 161 Из писем Кларе Турумовой-Домбровской
- 187 Письмо Ольге Федоровне Турумовой
- 189 Об этой книге
- 190 *Краткая биография Ю.Домбровского*

От редактора

В этой книге два письма автора и несколько небольших отрывков из его писем повторяются дважды — в основной части книги и в приложении. Вызвано это необходимостью сохранить архитектуру и целостность поэтической части и не исказить кунюрами подборку писем.

Юрий Осипович Домбровский
МЕНЯ УБИТЬ ХОТЕЛИ ЭТИ СУКИ

Редактор *С. Виленский*
Художественный редактор *Ф. Меркуров*
Технический редактор *А. Кокорин*
Корректор *С. Цыганова*
Подписано в печать 11.12.96. Формат 60 × 100/16.
Бумага офсетная № 1. Гарнитура Школьная. Печать офсетная. Объем 13,75 усл. печ. л. Тираж 7000 экз. Заказ № 3564.

Московское
историко-литературное общество
«Возвращение»

ЛР № 030440 от 9. 10. 92

Россия, Москва, 103062
а/я 96

Отпечатано с оригинал-макета в Московской типографии № 5 Комитета по печати Российской Федерации.
129243 Москва, Маломосковская ул., 21.



дали расои, показывае породу
Ты жил в тайге, Ты спирт пил
служил Возжю и был вратом ^{без} порога
Туда уелуют девки горого
Ты первый парель - что тебе еще?

Так две недели протекли и вот
он шумно возвращается обратно.
Сирелет Белок! служит! Водку пьет!
Ни слов не спорит - ^{все ему известно!}
но как-то утром, ~~никогда~~ ^{только сонно} не спит,
не оморозась, не заперев двери
берет он брусничя.

милая душа,
как ты сильна под рыжей шкурой
Зверя!

В мозгах тайги кайлили мы мерз-
и засовос расберенноч прело ^{лоту}
Уе дат не моживую проситоу
напустобу и хьлод этой емы

неужели неужели
это все что от газели?

4

Тогда, точка, запятая,
минус, рожица кривая
ручка, конка, о'гурчик
бог и вошел теловесел
и блистают на коринке
гептескимми боинки
и чиликды и тасы
и бородка и усы
и подума в рисуно
чиму можно толубу
а вчизу у самых ног
рассыпало я песок
точки, точки, точки, точки
кривий пудель на цепотки
Дом, труба и из трубы
двима черные клувы

5

ира! ира! ира - план
посади меня в карман
разверни свои бела
пучками под облака
с распахнутым веротом
мы парачи наг городом
наблюдал с высоты
как работается мосты
кни ложится ловко
синие штриховка
то у староч арки
развернулись паркы
то ко сматей медвенат
ели город сторончат

...ГЛЯЖУ НА ВАС,

НА ТОНКИХ ЖЕНЩИН ВАШИХ,

НА ГЕНИЕВ В ТРАКТИРЕ, НА ТРАКТИР,



НА МОЛЧАЛИВОЕ СЕДОЕ ЗЛО,

НА МЕЛКОЕ ДОБРО ГРОШОВОЙ СУТИ,

НА ТО, КАК ПЬЮТ, КАК ЗАСЕДАЮТ, КРУТ

И ДУМАЮ: КАК МНЕ НЕ ПОВЕЗЛО!